

Гюнтер Грасс. Собачьи годы

Роман

Перевод с немецкого и вступление М. РУДНИЦКОГО

ЖИЗНЬ, ОКАЗАВШАЯСЯ КНИГОЙ

Перед читателем "ИЛ" еще один роман Гюнтера Грасса, последняя книга его "данцигской трилогии", снискавшей автору в начале шестидесятых годов славу почти всемирную. Почти, потому что через цензурно-идеологические кордоны многих стран того лагеря, который гордо звался "социалистическим", произведения Грасса и в ту пору, и много "застойных" лет спустя проникали чуть ли не контрабандой: органы, важно именовавшие себя "компетентными", редко и с крайней неохотой давали добро на их публикацию - так, из всей "данцигской трилогии" нам в свое время милостиво разрешили прочесть, да и то с целомудренными изъятиями, лишь повесть "Кошки-мышки". Сейчас, когда нравы изменились и между нами и большой литературой ничего, кроме личных и общественных экономических катастроф, не стоит, особой признательности заслуживает харьковское издательство "Фолио", мужественно взявшее на себя благородную миссию издания четырехтомного собрания сочинений Грасса, составленного Е.А.Кацевой.

Оговоримся сразу - и эта журнальная публикация, так же как публикация романа "Жестяной барабан" (см. "ИЛ", 1995, ? 11), не будет полной. Причиной тому, во-первых и в-главных, огромный объем произведения, а во-вторых, достаточно самостоятельный характер отдельных его частей: роман Грасса художественно организован как конгломерат трех автономных книг, написанных тремя разными, хотя и, понятное дело, фиктивными рассказчиками. В третьей книге, "Матерниады", озаглавленной так по имени одного из главных героев, Вальтера Матерна, перед нами во всеоружии своего сатирического дара предстает тот Грасс - язвительный критик послевоенной западногерманской повседневности, которого наш читатель пусть неполно, но все-таки уже знает по романам "Под местным наркозом" (1969) и "Из дневника улитки" (1972). Это важная часть романа и важный аспект творчества писателя, важный, но не определяющий: рискну сказать, что в романе "Собачьи годы" Грасс во всем размахе и азарте своего писательского таланта раскрылся именно в первых двух частях.

Есть книги, которым уже в самый момент их рождения суждена долгая жизнь - столь очевидны и бесспорны их незаурядность и художественная сила. К таковым, несомненно, наряду с "Жестяным барабаном", принадлежат и "Собачьи годы" Гюнтера Грасса. Мощь художественного претворения действительности здесь явлена такая, что только очень идеологически предвзятый или очень уж эстетически подслеповатый взгляд способен не распознать масштабы этого дерзания. Вот почему, быть может, не стоит привычно сетовать на то, что наше знакомство с еще одним выдающимся явлением европейского искусства XX века - а первые романы Грасса, безусловно, заслуживают именно такой дефиниции - происходит с опозданием на три с лишним десятилетия. По гамбургскому счету, который в данном случае вполне уместен, не такой уж это и большой срок, а если оглянуться на отечественную

современность, то впору подумать, что опоздание в тридцать три года подстроено нарочно, что оно и не опоздание вовсе, а, напротив, точно выбранный и терпеливо выжженный исторический миг. Кстати, сам Грасс, большой любитель достопамятных дат и магии чисел, наверняка поигрался бы с числом 33, созвучным дате 1933 и кратным "нехорошему", как сказано в его романе, числу одиннадцать.

Полагаю, что вживание в многослойный и сложносочиненный, одновременно и гротескно страстный, и вдохновенно поэтичный, то сказочно-фантастический, то беспощадно жестокий мир грассовского романа дастся нашему читателю, как далось и автору этих строк, без особого труда: слишком многое в этих прихотливых повествовательных узорах, в этих хитросплетениях образов и судеб покажется, да и окажется узнаваемым, понятным, до боли знакомым, а то и постыдно родственным. Сила художественного обобщения здесь такова, что выплескивается за берега национальной исторической судьбы, творя картины многозначного, универсального, общечеловеческого смысла и безжалостно ставя нас, читателей, перед вопросами, ответы на которые, боюсь, все еще не найдены и найдены будут не скоро. Грасс в этой своей книге не столько анализирует - это в более поздних его вещах проявляется порой тяга к ироничной рассудительности, - сколько яростно и неистово, с бесстрашием и одержимостью, в которых узнается подвижнический порыв Достоевского, снова и снова выпихивает повествование к "последним вопросам" бытия, живописуя историю болезни общества, пораженного геном коллективного безумия.

Проще всего было бы в этом месте, не обинуясь, поименовать коллективное безумие фашизмом, да еще и сопроводить его атрибутивом "германский". Однако иная простота, как известно, хуже воровства, поэтому не будем сами себя обкрадывать. Разумеется, Грасс во всей "данцигской трилогии" отталкивается от своего личного опыта и опыта своего поколения, выросшего в Германии в пору гитлеровского фашизма. На иных страницах романа именно этот личный и глубоко выстраданный опыт окрашивает повествование тонами пронзительной исповедальной искренности. Но Грасс понимает: всякое явление имеет свой исток и свой генезис. Вот почему его роман бесчисленными нитями своего сюжета и своей образности уходит в недра времен и в недра человеческой души, и там, и там обнаруживая все более глубокие залегания добра и зла, красоты и уродства, разума и первобытного звериного инстинкта, созидания - и разрушения.

В этом смысле совершенно особую роль играет в романе история. Она присутствует тут, можно сказать, постоянно, живьем и во плоти, сообщая людям и зверям - а они в романе участвуют на равных, - событиям и вещам, мыслям, словам и поступкам свой неповседневный контекст. И дело не только в том, что повествование изобилует историческими аллюзиями, непринужденно перескакивая из наполеоновских войн в средневековые крестовые походы, а то и вовсе ныряя в темные пучины мифа. Сами эти аллюзии доказывают нечто очень важное: в извечном противоборстве добра и зла именно ход истории в конечном счете оказывается последним судьей, документируя целесообразность мирового развития, осмысленность эволюции, свершающейся наперекор разгулам варварства и кровопролитиям. Вспомним, с какой библейской торжественностью перечисляет Брауксель, летописец первой части, собачьи поколения, и это, конечно, неспроста - в них, в этих собачьих родословных, запечатлено вековечное движение от дикости к культуре: черная псина Сента "не хочет обратно к волкам".

Не хочет "обратно к волкам" и человек или, скажем точнее, как прави-

ло, не хочет, поскольку наделен противоядием от дикости - предприимчивостью, стремлением к созиданию, творчеству. Это его неистребимое стремление выражено в романе Грасса по-разному - оно материализовалось в дамбах Вислы, "облагоразумивших" коварную стремнину непокорной реки, и в гордой красе родного Данцига, запечатлелось в аккуратной брусчатке его мостовых и в наименованиях его улиц и площадей, мест и предместий, вобравших в себя века человеческого труда, мирного быта, оседлости. (Очень важно понять и прочувствовать именно этот оттенок в отношении Грасса к своей малой родине, нынешнему Гданьску, не придавая ностальгии писателя какого-то иного, политического смысла, абсолютно ей не свойственного.) Отсюда же интерес Грасса к самым разным видам человеческой деятельности, энциклопедические познания по части ремесел, промыслов и вообще всякого рукотворчества - в миропонимании художника это и есть первооснова гуманизма, его содержательное наполнение. И конечно же, вершиной созидательного начала в человеке оказывается искусство.

Грасс, как известно, не только писатель - в его послужном списке несколько художественных профессий: каменотес и скульптор, джазист и живописец. Он не понаслышке знает театр и балет. Полагаю, именно это разностороннее знание позволило ему внести в великую тему немецкой литературы традицию "романа о художнике", идущую еще от "Вильгельма Мейстера" и от "Генриха фон Офтердингена", свою, совершенно особую ноту. Изобретая для своих персонажей самые невероятные и экзотические художественные занятия - вспомним санитара из "Жестяного барабана", который сооружает свои творения из бечевки, вязальных спиц и дощечек, вспомним барабанные палочки самого Оскара Мацерата, выбивающие по лакированной жести причудливые и жутковатые фантазии, поставим в этот же ряд одного из главных героев романа "Собачьи годы", Эдди Амзеля, мастерящего не что-нибудь, а птичьи пугала, - Грасс методом остранения как бы "вылуцчивает" саму идею искусства, во всей ее первозданной чистоте, во всем ее бескорыстии, из скорлупы традиционной, привычной, рутинной формы. А такое извлечение, в свою очередь, сдвигает повествование в гротеск, резко сближая мир искусства и фантазии с грубой реальностью, принуждая их как-то соотноситься, конфликтовать друг с другом, вступать в сложные и непредсказуемые взаимодействия.

Нет, ни человеку, ни человечеству не свойственно стремиться "обратно к волкам", но иногда - вот она, главная болевая точка и мучительная загадка грассовского романа, - случаются в природе и истории генетические тупики, аппендиксы эволюции, рецидивы впадения в зверство. Грасс и не делает вид, что ему ведомы причины этой патологии, но как художник он умеет разглядеть ее симптомы. Фашизм в его романе начинается, казалось бы, с мелочей - с детских шалостей, с того, что несколько школьников избивают своего одноклассника, обзывая его к тому же "абрашкой". С поразительной художественной пронизательностью романист ставит в один повествовательный ряд историю девочки Туллы, этой маленькой нелюди, и историю воцарения в Германии фашистского режима, причем образ Туллы с первых строк приобретает черты поистине демонические, тогда как приход фашизма показан скорее через быт, во всей повседневной ползучей неприметности его эпидемического триумфа. В понимании Грасса фашизм - это не привнесенный извне общественный порядок, основанный на голом насилии, циничной демагогии и лжи, но прежде всего - массовый вывих человеческой природы, состояние души, готовой принять страх, ложь, демагогию, готовой к безропотному подчинению, а то и к фанатическому экстазу коллективного безум-

тва. Роман Грасса напоминает нам: если нация начинает сходиться с ума - этому трудно воспрепятствовать.

Впрочем, наивно было бы пытаться свести всю полноту и трепетную подлинность жизни, воплотившейся в этом удивительном романе, к некоему идейному высказыванию. "Собачьи годы" Гюнтера Грасса - это великая книга, в которой, как в жизни, есть место всему - трагическому и смешному, страшному и доброму, прекрасному и безобразному, обыденному и невероятному. В эту книгу не так уж трудно войти, а войдя, уже невозможно оторваться, пока не проживешь ее всю, до последней строчки.

Памяти Вальтера Хена

* КНИГА ПЕРВАЯ. УТРЕННИЕ СМЕНЫ *

Первая утренняя смена

Рассказывай ты. Нет, лучше вы расскажите. Или ты будешь рассказывать? Может, лучше господин артист начнет? Или пугала, все скопом? А может, подождем, пока восемь планет не сойдутся в знаке Водолея? Ну хорошо, прошу вас, начинайте вы! В конце концов, ведь это ваш кобель тогда... Да, но прежде чем мой кобель, ваша сука тоже... а до нее многие суки от многих кобелей... Но должен же кто-то начать - ты или он, вы или я... Итак: давным-давно, много-много закатов тому назад, задолго до того, как мы появились на свет, уже текла, не отражая нас в своих водах, Висла, текла каждый божий день и впадала куда следует.

Летописца, чье перо выводит эти строки, в данное время зовут Брауксель, и он по роду работы командует то ли рудником, то ли шахтой, где добывается, однако, не руда, не уголь и не калийная соль, но где тем не менее в поте лица своего трудятся сто тридцать четыре рабочих и служащих, вкалывая на откаточных штреках и промежуточных горизонтах, в забоях и квершлагах, не покладая рук ни в бухгалтерии, ни на отгрузке, и все это изо дня в день, из смены в смену.

Неуправляемо и коварно несла свои воды Висла в прежние времена. Покуда не созданы были многие тысячи землекопов и в году одна тысяча восемьсот девяносто пятом не прорыли между косовыми деревнями Шивенхорст и Никельсвальде с севера к югу протоку, так называемый "стежок". И он, этот стежок, приняв воды Вислы в свое прямое, как по шнурку протянутое русло, уменьшил опасность наводнений и паводков.

Летописец Брауксель по большей части пишет свое имя через "кс", как "ксиву", но иногда и через "хс" - Браухсель. А иной раз, в соответствующем настроении, он именует себя Брайксель, почти как Вайксель, то бишь Висла по-немецки. Игривость и педантизм водят его рукою попеременно и ничуть друг другу не мешают.

От горизонта к горизонту протянулись вдоль Вислы дамбы, и под присмотром главного комиссара водорегулирующих сооружений в Большой пойме Мариенвердер надлежало этим дамбам противостоять как могучим весенним половодьям, так и августовским "доминиканским" паводкам. И не приведи Бог, если в дамбе заводились мыши.

Тот, чье перо выводит сейчас эти строки, тот, кто командует то ли рудником, то ли шахтой и пишет свое имя по-разному, изобразил на расчищенной для такого случая столешнице с помощью семидесяти трех сигаретных "бычков", добытых честным двухнедельным трудом заядлого курильщика, русло Вислы в двух вариантах - до и после урегулирования: табачная труха вперемешку с рыхлым серым пеплом обозначит течение реки со всеми ее тремя устьями, обгорелые спички - это дамбы, что удерживают строптивую реку в ее зыбких берегах.

Итак, много-много закатов тому назад: вот и господин главный комиссар водорегулирующих сооружений не спеша спускается вниз по склону, где возле села Кокоцко, аккурат против меннонитского кладбища, в восемьсот пятьдесят пятом прорвало дамбу - в кронах деревьев потом неделями торчали гробы, - он же, пеший ли, конный или на лодке, в своем неизменном сюртуке с неизменной чекушкой рисовой араки в оттопыренном кармане, он, Вильгельм Эренталь, тот самый, что в свое время в потешных и торжественных, на античный манер сложенных виршах сочинил знаменитую "Дамбоспасательную эпистолу", после публикации преподнес ее с дружественным напутствием всем окрестным зрителям дамб, сельским учителям и меннонитским проповедникам, он, упомянутый здесь в первый и последний раз, дабы никогда больше не появиться на этих страницах, - вот он блюдет свой неусыпный дозор вверх ли, вниз по течению, пристально оглядывая плетеные перемычки и полузапруды-буны и нещадно гоня с дамбы поросят, ибо согласно земельно-правовому уложению от ноября месяца года одна тысяча восемьсот сорок седьмого, параграф восемь, пункт два, "запрещается всякой скотине, пернатой равно копытной, на дамбах пастись и особенно рыться".

По левую руку солнце падает к закату. Брауксель ломает надвое спичку: второе устье Вислы возникло второго февраля тысяча восемьсот сорокового без какого-либо участия землекопов, когда река, запруженная льдом, прорвала косу, слизнув по пути две деревни, что в свою очередь привело к образованию двух новых селений, рыбацких деревушек Западный Нойфер и Восточный Нойфер. Однако, сколь ни богаты обе эти деревушки своими байками, преданиями и замечательными небывальщинами, мы будем вести речь главным образом о двух других, что расположились на восточном и западном берегах первого - не по времени, но по течению - устья: Шивенхорст и Никельсвальде были, да и сейчас остаются последними деревнями вдоль "стежка", между которыми есть паромная переправа, ибо уже пятьюстами метрами ниже мутный исток Вислы, чаще глинисто-желтый, чем пепельно-серый, изливается с просторов нынешней Польской республики в почти пресные (ноль целых восемь десятых процента соли) воды Балтийского моря.

Тихо, словно заклинание, бормоча под нос заветную цитату: "Висла - это широкая, с каждым воспоминанием все более привольная река, вполне судоходная, несмотря на обилие песчаных отмелей", - Брауксель пускает по столешнице своего письменного стола, превратившейся в наглядный макет дельты Вислы, паромную переправу в виде изрядно потертого ластика и сей же час, поскольку первая утренняя смена уже заступила, а день начинается громким чириканьем воробьев, водружает девятилетнего Вальтера Матерна - ударение на последнем слоге: Матерн - на самый гребень никельсвальденской дамбы прямо под лучи заходящего солнца; Вальтер скрежещет зубами.

А что, собственно, происходит, когда девятилетний сын мельника, вывеченный лучами закатного солнца, стоит на гребне дамбы, смотрит на реку и скрежещет зубами наперекор ветру? Это у него от бабки, которая девять лет сиднем просидела в своем деревянном кресле и только и могла, что

глазами лупать.

По воде много всего плывет, и Вальтер Матерн на все на это смотрит. А здесь, перед самым устьем, еще и море помогает. Говорят, в дамбе мыши. Так всегда говорят, коли дамбу прорывает - мол, мыши в дамбе. Меннониты говорят, это, дескать, поляки-католики среди ночи прокрались да мышей в дамбу напустили. А еще говорят, кто-то видел плотинного графа - всадника на белом коне. Но страховая компания не желает верить рассказам - ни про поляков-католиков, ни про графа из Гютланда. Когда дамбу прорвало - из-за мышей - граф, как и положено по преданию, на своем белом коне ринулся навстречу хлынувшей волне, только проку от этого все равно мало, потому что Висла уже поглотила всех плотинных зрителей. И польских католических мышей тоже. Поглотила и грубых меннонитов, тех, что с крючками и петлями, но без карманов, и меннонитов тонких, с пуговицами, петлицами и с дьявольскими карманами, поглотила в Гютланде и трех прихожан евангелической церкви, а заодно и учителя-социалиста. Поглотила в Гютланде и скотину мычащую, и резные деревянные колыбельки, поглотила вообще весь Гютланд - гютландские кровати и гютландские шкафы, гютландские часы с боем и клетки с канарейками, гютландского проповедника, этот был из грубых меннонитов, с крючками и петлями, - поглотила и проповедническую дочку, а она, говорят, очень была собой хороша.

Все это и много чего еще тащится по воде. Что вообще может нести в своих водах такая река, как Висла? Да все, что идет прахом - дерево и стекло, карандаши, разные написания имени Брауксель, стулья, косточки, но и заходы, закаты. Все, что забыто и бывшем поросло, вдруг всплывает в водах Вислы спиной или брюхом вверх и влачится в потоке воспоминаний: вот и Адальберт пришел. Он приходит пешим. И тут его сшибает огромным суком. Но Святополк все равно примет крещение. А что станет с дочерьми Мествина? Вот одна, босая, бросилась наутек - убежит или нет? Кто возьмет ее с собой? Богатырь Милигедо со своей чугунной палицей? Или огненно-рыжий Перкунас? А может, бледный Пеколс, тот, что все время глядит исподлобья? Отрок Потримпс только посмеивается и жует свои пшеничные колоски. Дубы уже срублены. Еще один скрежет зубовой - и вот уже дочка князя Кестутиса идет в монастырь. Двенадцать рыцарей без голов, двенадцать монахинь без голов, зачем они пляшут на мельнице? Мельница крутится, мельница вертится, монашки и рыцари на Сретенье встретятся; крутится мельница, вертится мельница, души в муку, а мука что метелица; крутится мельница, вертится мельница, последним куском мы с костлявой поделимся; мельница вертится, мельница крутится, монашки и рыцари стерпятся-слюбятся... когда, однако же, мельница запылилась изнутри и к ней стали подкапывать экипажи для безголовых рыцарей и безголовых монахинь и когда много позже - заходы, закаты - святой Бруно прошел сквозь пламя, а разбойник Бобровский со своим дружкой Матерной, от которого все и пошло, ходили по дворам и подпускали красного петуха всюду, где на воротах уже были кем-то услужливо намалеваны кресты, - заходы, заходы, - и Наполеон, до и после, когда город был осажден по всем правилам военного искусства, ибо на нем были неоднократно и с переменным успехом опробованы знаменитые пороховые ракеты Конгрева, - но и в самом городе, и на его укреплениях, на бастионах Волк, Медведь, Буланый и на бастионах Выскок, Кролик и Девкина Дырка, задыхались в чаду французы, чертыхались от бессильной злобы поляки с их князем Радзивиллом, тщетно надрывал глотки полк однорукого капитана де Шамбюра. Однако пятого августа к городу подступил доминиканский папаводок, вода без всяких штурмовых лестниц с первого приступа

взяла бастионы Буланый, Кролик и Выскоч, подмочила пороха, с шипением и треском загасила в своих толщах грозные ракеты Конгрева и запустила в город, в его улочки и закоулки, кладовки и кухни несметные полчища рыбы, особенно щук - вот уж кто поживился на славу, хоть провиантские склады на Хмельной улице к тому времени и были сожжены, - заходы, закаты. Такой реке, как Висла, все к лицу и все ее красит: закаты и кровь, глина и пепел. Ей бы улететь вместе с вольным ветром. Но не всякая воля исполняется, и реки, которым так хочется в небо, тоже впадают в Вислу.

Вторая утренняя смена

Вот она, здесь, на столешнице у Браукселя, и перекачивается через шивенхорстскую дамбу, изо дня в день. А на никельсвальденской дамбе стоит Вальтер Матерн и скрежещет зубами - ибо вода сходит. Как отмытые, помолодев, обнажаются из-под воды дамбы. Только скрещенные крылья ветряков, туповерхие колокольни да тополя - Наполеон приказал посадить их тут для прикрытия своей артиллерии - лепятся, как приклеенные, на их гребнях. И он, Вальтер, стоит один-одинешенек. Правда, с собакой. Но та не стоит, носится, то она там, то тут. За его спиной, уже в полумраке и ниже уровня реки, раскинулась отвоеванная людьми Пойма, и пахнет маслом, сывороткой, сливками, сыроварнями, почти до тошноты пахнет здоровьем и молоком. Вот он стоит, девятилетний пацан, по-хозяйски расставив ноги с багрово-синюшными коленками, растопырив обе свои пятерни, прищулив глаза и напыжившись так, что все шрамы и царапины, все отметины и следы падений, драк и нырков под колючую проволоку на его стриженной макушке набухают от напряжения, вот он, Вальтер Матерн, скрежещет зубами, двигая челюстью слева направо - эта привычка у него от бабки, - и ищет камень.

А на дамбе хоть шаром покати. Но он все равно ищет. Сухие сучки есть, это он видит. Но сухой сучок против ветра не швырнешь. А ему хочется, надо, невтерпеж швырнуть. Мог бы свистнуть, подозвать Сенту, которая то тут, то там, но не свистит, только скрежещет зубами - чтобы ветер заглушить - и хочет что-нибудь швырнуть. Мог бы криком "Эй, ты!" обратить на себя взор Амзеля, что копошится внизу под дамбой, но во рту у него только скрежет зубовой и нет места ни для какого "Эй, ты!", и ему хочется, надо, очень надо швырнуть, а в карманах, как назло, ни одного камушка; обычно-то у него в каком-нибудь из карманов обязательно камушек найдется, если не два, а сейчас нету.

Такие камушки в здешних местах называют "голышами". Евангелические говорят - "голыши", и немногие католики тоже говорят "голыши". Грубые меннониты - "голыши". И тонкие меннониты - "голыши". И Амзель, который вообще-то любит быть не таким, как все, тоже говорит "голыш", когда имеет в виду камень. И Сента, если ей сказать "Принеси-ка голыш", обязательно принесет камушек. И Криве говорит "голыш", Корнелиус, Кабрун, Байстер, Фольхерт, Август Шпангель и майорша фон Анкум - все так говорят; и проповедник Даниэль Кливер из Пазеварка, обращаясь к своей пастве, что к грубым, что к тонким меннонитам, говорит примерно так: "И тады малыш Давид как возьмет голыш и как заедет ентому дылде Голиафу..." Потому как "голышом" в здешних местах называют всякий "сподручный", удобный камушек величиной примерно с голубиное яйцо.

Но Вальтер Матерн, как назло, ничего такого в карманах не находит. В правом только крошки да семечки, а вот в левом, между кусками бечевки и

бренными останками кузнечика - а зубы тем временем скрежещут, а солнце между тем скрылось, а Висла течет, влача в своих водах что-то из Гютланда, что-то из Монтау, а Амзель все еще копается, и облака куда-то, и Сента против ветра, а чайки на ветру и дамбы чисты как вылизанные, а солнце ушло, ушло, ушло - он нашаривает свой перочинный нож. Солнце заходит в восточных краях медленнее, чем в западных, это любому ребенку известно. Висла течет от одного небосклона к противоположному. Вот уже от шивенхорстской пристани отделился паром с намерением дотащить, косо идя наперерез течению и всеми силенками упираясь, дотащить два товарных вагона до рельсов узкоколейки, что протянулась от Никельсвальде до Штутхофа. Как раз сейчас кусок дубленой кожи по имени Криве отвернет от ветра свое бычье лицо и начнет ощупывать неморгающим, почти без ресниц, взглядом противоположную дамбу: лениво вращаются крылья ветряка, а вон тополя - Криве их наперечет знает. Глаза у него слегка навывкате, и выражение в них негибкое, а рука в кармане. Наконец, он соизволяет опустить взгляд чуть пониже - а что это там копошится возле самой воды, такое смешное и круглое, и, похоже, норовит что-то выудить из Вислы. Да это же Амзель охотится за старьем. А зачем ему старье, это любому ребенку известно.

Дубленому Криве, однако, неизвестно, что такое обнаружил Вальтер Матерн в своем кармане, обшаривая его в тщетных поисках гольша. И пока Криве прячет свое сыромятное лицо от ветра, нож в ладони Вальтера Матерна потихоньку согревается. Это Амзель ему нож подарил. Три лезвия, штопор, пила и даже шило. Краснощекий увалень Амзель, уморительно смешной, когда он плачет. Амзель, который сейчас внизу под дамбой копается в прибрежной тине, ибо хотя сейчас Висла медленно, пядь за пядью, на палец в час, отступает, но когда от Монтау до Кэземарка потоп, она поднимается до самого гребня дамбы и оставляет разные вещи, иной раз аж из самого Пальшау.

Ушло. Село. Упало там, на горизонте, за дамбу, оставив только разгорающийся багрянец. И тогда - один лишь Брауксель это знает - Вальтер Матерн еще крепче сжимает нож, который покамест у него в кармане. Амзель - тот немного помоложе Вальтера Матерна. Сента, черным-черна, мышкует вдалеке, такая же черная, как багрово закатное небо над шивенхорстской дамбой. Дохлая кошка в ветвях плавника. Чайки совокупаются на лету, шелковистая оберточная бумага на ветру трепещет - то расправится, то свернется; стеклянные глаза-пуговицы цепко видят все, что плывет, парит, юркает, шмыгает, затаилось, замерло или просто существует на свете, как существуют две тысячи веснушек на физиономии Амзеля; видят и то, что на голове у него каска, какие носили еще до Вердена. Каска сползает на глаза, надо ее отодвинуть на макушку, она опять сползает, мешая Амзелю выуживать из тины штакетины, жерди и свинцово набрякшее тряпье, - вот тут-то как раз из ветвей на прокорм чайкам вываливается кошка. Мыши снова снуют в недрах дамбы. И паром все еще приближается к берегу. Река несет и вращает дохлую рыжую псину. Сента нюхает ветер. Паром упрямо и зло тащит наперерез течению два товарных вагона. И телку, уже неживую, тоже несет река. Ветер вдруг стих, запнулся, но еще не переменялся. Чайки замерли в воздухе, они в недоумении. И вот тут, покуда все это - паром и ветер, телка и солнце за дамбой, мыши в дамбе и чайки на лету, - Вальтер Матерн достает из кармана зажатый в кулаке нож, прижимает его - а Висла все течет - к шерстяной груди свитерка и стискивает что есть силы, так что костяшки пальцев в разгорающемся зареве отливают мелом.

Третья утренняя смена

Каждый ребенок от Хильдесхайма до Зарштедта знает, что добывается у Браукселя в рудниках - тех самых, что пролегли от Зарштедта до Хильдесхайма.

Каждый ребенок знает, почему сто двадцать восьмой пехотный полк, погружившись в двадцатом году в эшелон, вынужден был оставить в Бонзаке ту каску, которую носит сейчас Амзель, наряду с множеством других касок, грудой обмундирования и парочкой походных кухонь, именуемых на солдатском наречии "гуляш-мортирами".

А вот опять кошка. Каждый ребенок знает - это уже другая кошка, только мышам это невдомек и чайкам тоже. Кошка плывет мокрей мокрого, дохлей дохлого. А вот и еще что-то несет, не собаку и не овцу, эге, да это плавающей шкаф. С паромом он вроде уже разминулся. И в тот миг, когда Амзель вытягивает из тины очередную жердь, а кулак Вальтера Матерна сжимает нож что есть силы, до дрожи, - в этот миг кошка обретает свободу: ее подхватывает течением и несет в открытое море, в открытое небо... Чайки все меньше, мыши шебаршатся в дамбе, Висла течет, нож в кулаке дрожит, ветер называется норд-вест, дамбы молодеют на глазах, море всеми силами упирается, не пуская в себя реку, солнце все еще заходит и никак не зайдет, а паром все еще тащится, тащит себя и два вагона, наперерез течению. Паром не опрокинется, дамбы не прорвутся, мыши ничего не боятся, солнце вспять не повернет, и Висла не повернет вспять, и паром не повернет, и кошка, и чайки, и облака, и пехотный полк, Сента не хочет обратно к волкам, а хочет умница, умница, умница... Вот и Вальтер Матерн не хочет класть обратно в карман тот перочинный нож, что недавно подарил ему толстяк-коротышка-увалень Амзель; наоборот, кулаку, что сжимает в себе нож, даже удастся побелеть еще чуточку сильнее. И зубы где-то над кулаком скрежещут слева направо. Но вот кулак чуть разжался, и покуда вокруг все течет, движется, тонет, влачится, кружит, прибывает, убывает - кровь, что застоялась в запястье, теплой волной приливает к ладони, и Вальтер Матерн легко вскидывает за голову кулак с теплым ножом, вот он уже стоит только на одной ноге, да и то на носке, почти на цыпочках, на кончиках пальцев, что привычно мерзнут в зашнурованном ботинке, потому что без чулка, как бы приподняв весь свой вес и уже перенеся его назад, за плечо, в закинутую руку, и не целится никуда, и даже почти не скрипит зубами: и в этот быстротекущий, уходящий, уже канувший миг - даже Браукселя его не спасти, ибо он забыл что-то, напрочь забыл, вот сейчас, когда Амзель отрывает наконец взгляд от прибрежной слякоти и сдвигает стальную каску с одной тысячи своих веснушек на вторую, со лба на затылок, - в этот миг выкинутая вперед ладонь Вальтера Матерна уже пуста, легка и сохраняет лишь вмятины, отпечаток перочинного ножа, у которого имелось три лезвия, штопор, пила и даже шило; а в пазах рукоятки забили морские песчинки, остатки мармелада, сосновые иголки, труха от коры и сгустки кротовой крови; ножа, за который запросто можно было выменять новый велосипедный звонок; даже не украденного, а честно купленного Амзелем на честно заработанные деньги в лавке у собственной матери, а потом подаренного им своему другу Вальтеру Матерну; ножа, который прошлым летом во дворе у Фольхертов пригвоздил к воротам сарая бабочку, а под паромной пристанью, куда причаливает Криве, однажды за один день прикончил четы-

рех крыс, в дюнах едва не прикончил кролика, а две недели назад пронзил крота, прежде чем того успела взять Сента. Пока что ладонь все еще хранит на себе отпечаток ножа, того самого, которым Вальтер Матерн и Эдуард Амзель, когда им было по восемь лет и очень хотелось заключить кровное братство, сделали себе надрезы на руке, там, где мускулы, потому что Корнелиус Кабрун, который был в немецкой Юго-Западной Африке и знает обычаи готтентотов, так им рассказывал.

Четвертая утренняя смена

Тем временем - ибо пока Брауксель изучает историю ножа, пока он экспериментальным путем исследует траекторию полета ножа с учетом силы броска, сопротивления ветра, закона всемирного тяготения, времени у него остается ровно столько, что он едва успевает засчитать себе целый рабочий день от одной смены до другой и написать "тем временем", - так вот, тем временем Амзель тыльной стороной ладони сдвигает каску со лба на затылок. Взгляд его скользит вверх по склону дамбы, успевает заметить и бросок, и бросившего, и перехватить на лету брошенный предмет; а нож, утверждает Брауксель, тем временем достиг той высшей точки, какой достигает всякий предмет, движущийся вверх под воздействием внешней силы, - а тем временем Висла течет, кошка дрейфует, чайка кричит, паром приближается, сука Сента чернеет на фоне неба, а солнце все заходит и никак не зайдет.

Тем временем - ибо когда брошенный предмет достигает той высшей точки, после которой начинается падение, он на секунду как бы замирает, пребывая в кажущейся неподвижности, - так вот, пока нож на секунду замирает в этой точке, Амзель отрывает от него взгляд и снова - а нож тем временем начинает падать в воду, стремительный и обреченный под порывами встречного ветра, - снова смотрит на своего друга Вальтера Матерна, который все еще балансирует на одной ноге в зашнурованном ботинке, без чулка, правая рука все еще вытянута, а левая для равновесия загребает воздух.

Тем временем - ибо пока Вальтер Матерн балансирует на одной ноге, стараясь сохранить равновесие, пока Висла и кошка, мыши и паром, Сента и солнце, пока перочинный нож падает в воду - на руднике Браукселя заступила очередная утренняя смена, а ночная, наоборот, отшабашила и разъехалась по домам на велосипедах, комендант запер штейгерский барак, а воробы во всех канавах возвестили приход нового дня... Амзелю тогда все же удалось - то ли своим шустрым взглядом, то ли чуть менее шустрым криком - вывести Вальтера Матерна из едва сохраняемого равновесия. И хотя тот и не свалился с самой кромки никельсвальденской дамбы, однако качнулся, зашатался и накренился так, что потерял из виду свой нож и не углядел, как тот соприкоснулся с водами Вислы и юркнул вглубь.

- Эй, Скрыпун! - кричит Амзель. - Опять зубами скрипишь и швыряешься чем ни попадя?

Вальтер Матерн, которому адресованы и этот вопрос, и кличка Скрыпун, уже снова твердо стоит на ногах, сверкая ободранными коленками и потирая ладонь своей правой руки, на которой остывающим контуром меркнет отпечаток ножа.

- Ты же видел, что швыряюсь, чего зря спрашиваешь?

- Но ты не голышом швырнулся.

- А если нет голыша.
- А чем ты швырнулся, коли голыша нет?
- Кабы у меня был голыш, я б голышом швырнулся.
- Чего же ты Сенту не послал, она бы тебе принесла.
- Этак любой дурак скажет: "Чего же ты Сенту не послал". Попробуй пошли эту тварь, она вон за мышами носится.
- Чем же ты тогда швырнулся, коли голыша не было?
- Заладил тоже - чем да чем? Чем надо, тем и швырнулся. Будто сам не видел.
- Ты ножиком моим швырнулся.
- Это мой был ножик. Подарок - он подарок и есть. Кабы у меня голыш под рукой был, разве стал бы я ножом швыряться.
- Мог бы сказать по-человечески, что у тебя там голыша нет, я б тебе мигом бросил, у меня их тут навалом.
- Чего зря языком молоть, все равно его уже не вернешь.
- Может, мне новый подарят на Вознесение.
- А я, может, не хочу новый.
- Ну, если бы я тебе его отдал, захотел бы.
- А спорим, что не возьму?
- А спорим, что возьмешь?
- А спорим, что нет?
- А спорим, что да?

И они ударили по рукам - зажигательное стекло против оловянных гусаров, - причем Амзель подает свою веснушчатую ладонь снизу, а Вальтер Матерн, наклонившись, тянет свою, еще с отпечатком ножа, ему навстречу и, скрепив спор рукопожатием, одновременно втаскивает Амзеля на гребень дамбы.

Амзель настроен миролюбиво:

- Ты такой же чудной, как ваша бабка на мельнице. Она тоже зубами скрипит, какие у нее еще остались. Правда, она у вас не швыряется. Зато поварешкой дерется дай Боже.

Сейчас, когда оба стоят на дамбе, видно, что Амзель росточком пониже. Говоря о бабке Вальтера Матерна, он тычет большим пальцем через плечо, где позади дамбы вдоль дороги растянулась деревушка Никельсвальде, а чуть поодаль виднеется принадлежащая Матернам ветряная мельница. Амзель тянет вверх по склону дамбы свою сегодня не слишком богатую добычу - связку штакетин, жердин, выкрученного тряпья. Рука его то и дело тянется к каске, которая застит ему глаза. Паром уже причалил к никельсвальденской пристани. Слышен лязг двух вагонов. Черное пятно, Сента, то больше, то меньше, снова больше, приближается. Снова тащится мимо какая-то утопшая животина. Висла течет, во всю ширь расправив плечи. Вальтер Матерн кутает правую руку в драную бахромку свитера. Между ним и Амзелем твердо стоит на всех своих четырех лапах Сента. Вываленный налево язык ритмично подрагивает. Она не сводит глаз с Вальтера Матерна, потому что он опять зубами. Это у него от бабки, которая девять лет сиднем и только глазами.

Наконец они тронулись - три неодинаковые фигурки движутся по кромке дамбы в сторону пристани. Вот бежит, черным-черна, Сента. Потом, на полшага впереди попутчика, Амзель. Следом, на полшага сзади, Вальтер Матерн. Он волочит сегодняшний улов Амзеля. Трава, примятая связкой досок и тряпья, нехотя распрямляется, покуда вся троица медленно исчезает на дальнем конце дамбы.

Пятая утренняя смена

Итак, как и было условлено, Брауксель прилежно склоняется над бумагой, а тем временем другие летописцы с не меньшим усердием, добросовестно соблюдая сроки, тоже склонились над картиной прошлого, каждый над своим манускриптом, дав волю безудержному течению Вислы.

Пока что Браукселью нравится припоминать все в точности: много-много лет назад, когда дитя явилось на свет, но еще не могло скрежетать зубами, ибо, как и все дети на земле, явилось на свет беззубым, бабка Матернов сидела в своей верхней горенке, прикованная к своему креслу, вот уже девять лет не в силах пошевелиться, а в силах только вращать глазами, лопотать что-то невразумительное и пускать слюни.

Верхняя горенка - это такая комната, нависающая над кухней, одним окном выглядывающая во двор, чтобы можно было присматривать за прислугой, а другим - на ветряную мельницу Матернов, примечательную тем, что она посажена на козлы и тем самым вот уже более ста лет являла собой классический тип мельницы немецкой. Матерны построили ее в одна тысяча восемьсот пятнадцатом году, вскоре после взятия города и крепости Данциг доблестью победоносного российского и прусского оружия; благо Август Матерн, дед нашей прикованной к креслу старушенции, во время длительной, нудной и ведущейся без всякого азарта осады города сообразил организовать весьма выгодные сделки, так сказать, с двойным дном: с одной стороны, с весны он начал поставлять некоему заказчику, платившему за это полновесными серебряными талерами, штурмовые лестницы, с другой же - получая в уплату за эти услуги так называемые "талеры с листьями", а также еще более вождеденную брабантскую валюту, контрабандой отправлял в Данциг генералу графу д'Оделе коротенькие депеши, в коих делился своими недоумениями: с какой это стати весной, когда до сбора яблок еще Бог весть сколько времени, русским понадобилась такая уйма приставных лестниц.

А когда генерал-губернатор граф Рапп в конце концов подписал акт капитуляции крепости, в отдаленной деревушке Никельсвальде Август Матерн, выложив дома на столе изрядную горку датских монет - так называемых "специй" и "двух третей", - горку быстро поднимающихся в цене рублей, горку гамбургских марок, талеров обычных и талеров с листьями, мешочек голландских гульденов и стопку только что добытых данцигских "бумаг", счел, что он неплохо обеспечен и предался радостям строительства: старую мельницу, в которой, по преданию, после сокрушительного поражения Пруссии соизволила переночевать королева Луиза, ту мельницу, чьи махи, иглицы и дранка пострадали сперва от датской атаки с моря, а затем при ночном яростном прорыве отступающего добровольческого корпуса капитана де Шамбюра, Август Матерн распорядился снести всю, кроме козел, где дерево было еще добротным, и водрузил на старые козлы новую мельницу, которая благополучно просидела на них своим гузном до той поры, покуда бабке Матерн не пришлось на долгие годы засесть в кресло в полной неподвижности. В этом месте Брауксель решает, пока не поздно, вернуть, что на свои сбережения, доставшиеся когда тяжким трудом, а когда и легкой смекалкой, Август Матерн не только отгрохал себе новую мельницу на старых козлах, но и пожертвовал часовне в Штегене, где жили кое-какие католики, фигурку мадонны, которая, впрочем, хоть даритель и не поскупился на сусальное золото, не явила миру ни чудес, ни сколько-нибудь заметного паломничества.

Вообще католицизм семейства Матернов определялся, как и положено в семье мельника, тем, откуда ветер дует, а поскольку на побережье в любой день какой-никакой ветерок обязательно сыщется, ветряное колесо мельницы Матернов худо-бедно крутилось круглый год, как крутилось и все семейство, воздерживаясь от чрезмерно частых и раздражающих соседей-меннонитов походов в церковь. Только на крестины и похороны, на свадьбы или по большим праздникам часть семьи отправлялась в Штеген, да еще раз в году, по случаю праздника тела Христова и положенной в этот день процессии, вся мельница, включая козлы со всеми их шпонами и гнездами, мельничные балки и постав, кружловину, седло и поворотный брус, а перво-наперво крылья со всеми их щитиками окроплялись святой водой и осенялись крестным знаменем - роскошь, которую, кстати говоря, Матерны ни в жизнь не смогли бы себе позволить в таких истоно меннонитских деревнях, как Юнкеракер или Пазеварк. Однако меннониты деревни Никельсвальде, которые все как один выращивали на жирных землях поймы тучную пшеницу и волей-неволей зависели от католической мельницы, обнаруживали куда больше учтивости, то есть не боялись носить одежду с пуговицами, а особенно с настоящими карманами, благо туда было что положить. Один только рыбак и никудышный крестьянин Симон Байстер оставался истоным меннонитом, с крючками и петлями, был неучтив и без карманов, поэтому на его лодочном сарае красовалась деревянная вывеска с надписью завитушками:

Кто крючки да петли носит, Того Боженька не бросит. У кого карман да пуговицы, Тот навек с чертями спутается.

Но Симон Байстер был в Никельсвальде один такой, кто возил молотье свое зерно не на католическую мельницу, а в Пазеварк. Однако, похоже, это все-таки не он в тринадцатом году, незадолго до большой войны, уговорил спившегося батрака из Фраенхубена подпалить мельницу Матернов чем только можно и со всех концов. Пламя уже выбивалось из-под козел и станины, когда Перкун, молодой пес работника Павла, которого, впрочем, никто иначе как Паулем не называл, неистоно мечась вокруг мельницы черным волчком и оглашая округу сухим, хриплым лаем, все-таки заставил и Павла, и его хозяина-мельника выйти на крыльцо.

Павел, или, проще говоря, Пауль, привел с собой этого зверюгу из Литвы и охотно показывал всем желающим нечто вроде его родословной, из которой явствовало, что бабка Перкуна по отцовской линии была то ли польской, то ли литовской, то ли русской волчицей.

А Перкун зачал Сенту; Сента принесла Харраса; Харрас зачал Принца; а Принц творил историю... Но пока что бабка Матернов все еще сиднем сидит в своем кресле и может только лупить да вращать глазами. Не в силах шевельнуться, она вынуждена просто наблюдать, как невестка хлопочет по дому, сын возится на мельнице, а дочь Лорхен бог весть чем занимается с работником Павлом. Но работник пропадет на войне, а Лорхен после этого малость потеряет рассудок: с этой поры она повсюду - в доме и на огороде, на мельнице и на дамбе, в зарослях крапивы и в сарае у Фольхертов, в дюнах и босиком по прибрежному песку, за дюнами и в чернике прибрежной роши - всюду будет искать своего Пауля, о котором так никогда и не узнает, кто - пруссаки или русские - загнал его в сырую землю. И только пес Перкун неизменно будет сопровождать в этих поисках кротко увядающую молодницу, делившую с ним одного господина.

Шестая утренняя смена

Итак, давным-давно - Брауксель отсчитывает годовщины по пальцам, - когда в мире уже третий год шла война, Пауль сгинул где-то в мазурских болотах, Лорхен с псом бродила по всей округе, а мельник Матерн по-прежнему продолжал таскать мешки, поскольку стал плохо слышать на оба уха и для армии не годился, - в один прекрасный солнечный день бабка Матернов сидела дома одна, поскольку все ушли на крестины, - сорванец и большой любитель швыряться перочинным ножом из предшествующих утренних смен в этот день был наречен именем Вальтер, - сидела сиднем, вращала глазами, что-то бормотала, пускала слюни, но тем не менее, увы, не могла произвести ничего вразумительного.

Она сидела в своей горенке, и по лицу ее пробегали стремительные тени. Лицо то вспыхивало, то исчезало в тени, то высвечивалось, то темнело. И мебель, целиком и частями: карниз буфета, горбатая крышка сундука, красный, вот уже долгих девять лет несминаемый плюш резной молевой скамеечки, - все это вспыхивало, меркло, теряло и вновь обозначало свои очертания то в дрожащей пыльной взвеси солнечной дорожки, то в сером беспыльном полумраке на лице бабки и на ее мебели. На ее чепце и ее любимом, голубого стекла, бокале в горке буфета. На бахроме рукавов ее ночного халата. На выскобленном добела полу и на шустрой, примерно в ладонь величиной черепахе, которую подарил ей когда-то их работник Пауль и которая, поблескивая панцирем и бодро переползая из угла в угол, питалась листьями салата, оставляя на своем любимом лакомстве ровные полукруглые надкусы, и давно Пауля пережила. И эти листья, рассыпанные по всему полу верхней горенки и окаймленные аккуратным орнаментом черепаховых надкусов, тоже то и дело мерцали - блик, блик, блик, - ибо во дворе за домом, усердно и в соответствии со скоростью ветра, составлявшей восемь метров в секунду, вращала своими крыльями матерновская мельница, перемалывая пшеницу в муку и заодно успевая за каждые три с половиной секунды застить солнце четыре раза.

Примерно в то же время, когда в горнице у бабки творилась эта демоническая свистопляска света и тени, младенец тронулся в путь по проселочной дороге через Пазеварк и Юнкеракер в Штеген - к своей крестильной купели, а подсолнухи у забора, что отгораживал участок Матернов от проселка, раскрывались все шире и шире, наклоняясь друг к другу и млея на том самом солнце, которое четыре раза за три с половиной секунды успевали застить крылья ветряной мельницы, - подсолнухи, они-то могли наслаждаться солнцем без малейших перерывов, ибо мельница между ними и солнцем никогда не встревала, только между солнцем и домом, причем даже в полдень встревала между неподвижной, сиднем сидячей бабкой и солнцем, которое в здешних краях светит хоть и не бесперечь, но достаточно часто.

Так сколько уже лет бабка Матернов прикована к креслу?

Девять лет в верхней горенке.

Сколько-сколько - за геранями, ледяными узорами, вьюнками и душистым горошком?

Девять лет - свет-тень, свет-тень со стороны мельницы. А кто же это ее так надолго усадил?

Это невестушка ее, Эрнестина, в девичестве Штанге, ей так удружила.

Да как же такое могло случиться?

Эта евангеличка из Юнкеракера сперва выжила Тильду Матерн, которая в ту пору еще вовсе не была бабкой, скорее напротив, крепкой и громогласной хозяйкой, из кухни, затем распростерла свое влияние по всему дому до

прихожей и обнаглела до того, что даже в праздник тела Христова стала мыть окна. Когда же Стина попробовала выжить свекровь и со скотного двора, тогда, в курятнике, в первый раз дошло и до рукопашной, да так, что от кур только перья летели - женщины лупили друг друга кормовыми лоханями.

Все это, вычисляет Брауксель, должно было случиться году эдак в девятьсот пятом; ибо, когда двумя годами позднее Стина Матерн, в девичестве Штанге, все еще не выказывала ни малейшего интереса к зеленым яблокам и соленым огурцам, а по ее месячным можно было хоть календарь сверять, Тильда Матерн заявила своей невестке, которая, скрестив руки, нагло стояла перед ней в верхней горенке:

- Не зря я всю жисть думала, что каждой евангеличке черт мышей в дырку запускает. Они там все и грызут, вот ничего оттудова и не выходит, только вонь одна.

После этих слов разразилась настоящая религиозная война, причем сражение велось деревянными поварешками и закончилось для католической стороны весьма плачевно: дубовое кресло, то, что стояло между кафельной печкой и молельной скамеечкой, приняло в свои объятия Тильду Матерн, когда ее хватил удар. С тех пор она девять лет сидела на этом троне безотлучно - за исключением тех недолгих минут, когда чистоты ради Лорхен и служанка приподнимали ее с кресла справить нужду.

Когда девять лет прошло и вдруг выяснилось, что в лоне у евангеличек вовсе не заводятся дьявольские мышки, которые все сгрызают и ничему не дают созреть, а что, напротив, лоно это способно выносить, и не что-нибудь, а даже сына, - бабка Матерн, покуда в Штегене при хорошей погоде шли крестины, по-прежнему и все так же несдвигаемо сидела в своем кресле. А под верхней горенкой, внизу на кухне в духовке жарился гусь, истекая и шипя собственным жиром. Он шипел и жарился на третьем году большой войны, когда гуси стали настолько редкими птицами, что их уже даже причисляли к вымирающим видам животного мира. А Лорхен Матерн - та самая, с родимым пятном, плоской грудью и кучерявыми волосами, Лорхен, которой не досталось мужа, потому что ее Пауль в сырой земле, Лорхен, которой надлежало за гусем неустанно следить, гуся жиром поливать, гуся переворачивать, приговаривать над ним заветные слова и прибаутки, - вместо этого встала между подсолнухами у забора, который новый работник по весне, слава Богу, хоть побелил, твердя поначалу ласково, потом озабоченно, потом с досадой, а затем опять по-хорошему, снова и снова одни и те же слова кому-то за забором, кому-то, кто за забором вовсе не стоял, и не проходил мимо в смазанных, хотя и скрипучих сапогах и в шароварах, и тем не менее звался Паулем и даже Паульчиком, и якобы ей, Лорхен, стареющей барышне с водянистым взором, что-то должен был отдать, что он у нее забрал. Но Пауль ничего не отдавал, хотя время вроде было подходящее - тихо, если не считать жужжания летней мошкары, - и ветер со скоростью восемь метров в секунду наконец-то подобрал обувь по размеру и так ловко подгонял крылья мельницы, что те крутились, похоже, даже быстрее ветра и всего лишь за один помол превратили пшеницу крестьянина Мильке - он как раз приехал молотить - в превосходную пшеничную муку.

Ибо, хотя сын мельника и принимал крещение в деревянной часовне в Штегене, мельница Матерна даже по такому торжественному случаю не простаивала. Помольный ветер не должен пропадать зря. Для ветряной мельницы праздников не бывает, бывают только помольные дни и безветренные. А для Лорхен Матерн бывали только дни, когда ее Паульчик проходил мимо и оста-

навливался у забора, и дни, когда никто мимо не проходил и у забора не останавливался. Когда колесо мельницы крутилось, Паульчик приходил и останавливался. Тявкал Перкун. Вдалеке, за наполеоновскими тополями, за избами Фольхертов, Мильке, Карбунов, Байстеров, Момбертсов и Криве, за плоской крышей школы и за молочным двором Люрмана, сонным мыком переключаются коровы. А Лорхен все твердит свое ласковое "Пауль-Паульчик", снова и снова "Пауль-Паульчик", а тем временем гусь в духовке, без полива, переверотов и прибауток, покрывается все более поджаристой праздничной корочкой.

- Ну отдай мне! Отдай сейчас же! Ну не будь таким. Зачем ты так? Отдай, пожалуйста, ты же знаешь, как мне это нужно. Отдай, не будь, ну почему же ты не хочешь...

Никто, ничего. Пес Перкун, вывернув голову на упругой шее, поскуливает вслед уходящему прохожему. Коровы набираются молока. Мельница восседает гузом на козлах и мелет зерно. Подсолнухи, кланяясь друг другу, творят свою таинственную молитву. В воздухе гудит мошकारа.

А тем временем гусь в печке начинает подгорать, сперва потихоньку, а затем все быстрее и недвусмысленней, в связи с чем бабка Матерн в своей верхней горенке над кухней начинает в беспокойстве вращать глазами быстрее, чем вертятся крылья мельницы. И покуда в Штегене младенец извлекается из купели, а в верхней горенке черепаха величиной с ладонь переползает с одной выдраенной половицы на другую, бабка Матерн, мелькая в чересполосице бликов и чуя подгорающего гуся, бормочет все громче, все сильнее пускает слюни и пыхтит. И пыхтит так, что сперва из ноздрей, как и у всех старух в столь почтенном возрасте, топорщатся пучки волос, а затем, когда чадный угар заполняет горенку целиком, заставляя черепаху в испуге замереть, а листья салата на полу пожухнуть, из ноздрей у бабки тоже уже валит настоящий дым. Гнев, накапливавшийся в ней девять лет, требует выхода - в старухиной топке разгорается пламя. Словом, Везувий и Этна. Излюбленная адова стихия - огонь, усиливая игру света и тени, заставляет старуху содрогнуться, и вот, девять лет спустя, зловещая и грозная в набегающих бликах, она первым делом пробует сухо скрипнуть зубами слева направо. И не без успеха: немногие пеньки, оставшиеся во рту у бабки Матерн вместо зубов, должно быть под воздействием гари, со скрипом и скрежетом трутся друг о друга. А тут еще вдобавок к драконьему шипению, скрежету зубовому, к клубам пара и струям огня раздается треск и летят щепки - это кресло, еще донаполеоновских времен, которое девять долгих лет, за исключением коротких, соображениями опрятности вызванных пауз, носило старухино брненное тело, не выдержало и распалось. В тот же миг черепаху на полу подбросило и перевернуло брюхом вверх. В ту же секунду потрескались и пошли сеточкой многие изразцы на кафельной печке. А внизу лопнул гусь, с шипением испустив из себя богатую начинку. Бабкин же трон, в мгновение ока превратившийся в деревянную труху такого тонкого помола, какой даже мельнице Матернов не снился, пыхнул облаком пыли, вознесясь над полом помпезным и причудливо освещенным памятником самой брренности и скрыв в своих пыльных формах саму бабку Матерн, которая, кстати, участь своего седалища вовсе не разделила и в отличие от одного отнюдь не думала обращаться в прах и тлен. Нет, прах, что медленно оседал на пожухлые листья салата, на перевернутый панцирь черепахи, на половицы и на мебель, был всего лишь дубовой трухой, - сама же старуха, отнюдь еще не трухлявая, но грозная, вовсе не оседала, а напротив, с хрустом и скрежетом, вся в электрических искрах, черно-бело-красных бли-

ках мелькающих крыльев мельницы, поднялась из праха и тлена, скрипнула остатками зубов слева направо и с этим же скрипом сделала первый шаг - из света во тьму, потом снова в свет, шаг в тьму, шаг в свет, перешагнула полумертвую от ужаса черепаху, беззащитную и прекрасную в сернисто-желтой наготе своего панцирного брюшка, целеустремленно зашагала дальше, прочь от своего девятилетнего паралича, не поскользнулась на листьях салата, пнула дверь горенки, распахнув ее настежь, в своих войлочных тапочках спустилась как воплощенный образец бабкиных доблестей по лестнице на кухню, ступила, наконец, на ее каменный, посыпанный опилками пол и в тот же миг обеими руками была в духовке, пытаюсь заветными, только ей, бабке, известными кулинарными ухищрениями спасти столь бесславно подгорающего праздничного гуся. Что ей отчасти - после того как она совсем подгорелое соскребла, пылающие места погасила, а саму птицу заботливо перевернула - удалось. Но всякий, кто еще имел в Никельсвальде уши, слышал, как, спасая гуся, бабка во всю силу своей отдохнувшей глотки грозно, яростно и отчетливо прикрикивала:

- Ах ты, шлюха, ах ты, шалава! Где тебя, шлюха, черти носят! Лорхен, шалава! Ну погоди, ты у меня дождешься, шлюха ты поганая! Ах ты, стерва! Ах ты, шлюха!

И вот она выходит - с тяжелой деревянной поварешкой в руке - из чадной кухни в гудящий жужжанием сад, и в тылу у нее мельница. Она наступает на клубнику слева, на цветную капусту справа, не застревает в кустах крыжовника, впервые за долгие девять лет добирается до свиных бобов, но не останавливается, и вот она уже возле, вот она уже среди подсолнухов, и уже замахивается правой рукой, и молотит поварешкой что есть мочи, в такт ритмичному мельканию мельничных крыльев, по бедной Лорхен, а заодно и по подсолнухам, но не по хитрому Перкуну, который успевает черной молнией метнуться сквозь шпалеры свиных бобов за забор.

Несмотря на удары, а смотря все еще в сторону Пауля, которого там вовсе нет, бедная Лорхен только повизгивает:

- Ну помоги же, Паульчик, ну помоги же, Пауль! - Но на нее обрушиваются только новые колотушки и боевой гимн расколдованной бабушки:

- Ах ты, шлюха! Шлюха поганая! Ах ты, шлюха! Шлюха поганая!

Седьмая утренняя смена

Брауксель уже спрашивал себя, не переусердствовал ли он с чертовщиной, описывая феерию бабкиного освобождения от немощи. Допустим, если добрая парализованная старушка просто так встанет и не без труда поковыляет на кухню, дабы спасти гуся, - разве это само по себе уже не чудо? Так ли уж необходимы клубы пара и огненные стрелы? Треснувший кафель и пожухшие листья? Околевающая черепаха и дубовое кресло, рассыпающееся в прах?

И если Брауксель - вполне трезвомыслящий человек, вписавшийся как-никак в нелегкую конъюнктуру свободного рынка, - на все эти вопросы вынужден ответить утвердительно, по-прежнему настаивая на огне и дыме, то ему придется эту свою настойчивость обосновать ссылкой на причины. А причина всех этих роскошных эффектов по случаю чудесного исцеления бабки Матерн была и есть только одна: все Матерны, особенно же "скрыпучая", скрежещущая зубами ветвь их рода - от средневекового разбойника Матерны через бабку, которая была самая что ни на есть Матерн, даром что замуж и то за

кузена вышла, и вплоть до младенца Вальтера Матерна, - все они питали врожденную склонность к грандиозным, можно сказать, почти оперным сценическим эффектам. Так что бабка Матерн в мае семнадцатого года воистину и вправду не просто тихо и как бы само собой восстала из немоги и отправилась спасать гуся, а сперва устроила целый - вышеописанный - фейерверк.

К этому следует добавить вот что: покуда старуха Матерн пыталась спасти гуся, а сразу после этого научить бедную Лорхен уму-разуму с помощью деревянной поварешки, из Штегена, уже миновав Юнкеракер и Пазеварк, направлялась к дому голодная праздничная процессия из трех повозок, каждая в упряжке из двух лошадей. И как ни подмывает Браукселя поведать о последующей трапезе - поскольку от гуся отдралось не слишком много, пришлось тащить из подвала заливное и солонину, - он вынужден оставить праздничное общество за этим роскошным столом, увы, без свидетелей. Никто никогда не узнает, как в разгар третьего года войны обжигались Ромейкесы и Кабруны, все Мильке и вдова Штанге, набивая животы подгорелой гусятиной, заливным, солониной и маринованной тыквой. Особенно жаль Браукселю эффектной сцены выхода к гостям расколдованной и шустрой, как прежде, старухи Матерн; единственная, кого ему дозволено изъять из этой сельской идиллии и перенести в текст, - это вдова Амзель, ибо она приходится матерью нашему толстячку Эдуарду Амзелю, который с первой по четвертую утреннюю смену доблестно трудился, выуживая из поднявшейся Вислы жерди, доски и набрякшее, тяжелое, как свинец, тряпье, а сейчас, сразу за крестинами Вальтера Матерна, пришел и его черед креститься.

Восьмая утренняя смена

Много-много лет назад - если уж рассказывать, то Брауксель больше всего любит сказки, - жил в Шивенхорсте, рыбацкой деревушке, что на левом берегу при впадении Вислы в море, торговец Альбрехт Амзель. Керосин и парусина, канистры для питьевой воды и тросы, сети и ящики для угрей, бредни и всякая прочая рыбацкая снасть, деготь и краска, наждачная бумага и нитки, промасленная ткань, вар и смазка - вот чем он торговал, а еще инструментом всех видов, от топора до перочинного ножа, не считая того, что хранилось на складе, - столярных верстаков и шлифовальных кругов, велосипедных шин и карбидных ламп, полиспаста, лебедок и тисков. Морские сухари громоздились здесь вперемешку со спасательными жилетами, спасательный круг, целехонький, только без надписи, уютно обнимал огромную стеклянную банку с солодовыми леденцами; пшеничная водка, любовно именуемая "хлебной", разливалась по стопкам из пузатой, зеленого стекла бутылки в оплетке; ткани на метр и мерный лоскут, но и готовое платье, как ношеное, так и новое, тоже имелось в продаже, а к нему, разумеется, вешалки, поддержанные швейные машинки и шарики нафталина. Но, несмотря на нафталин и деготь, керосин, карбид и шеллак, в лавке Альбрехта Амзеля - солидном, на бетонном фундаменте, деревянном строении, которое каждые семь лет красили темно-зеленой краской, - первым и главенствующим запахом был запах одеколона, а вторым, задолго до того, как начинал чувствоваться и нафталин тоже, был одуряющий аромат копченой рыбы, ибо Альбрехт Амзель был не просто владельцем мелочной лавки, но и оптовым закупщиком речной и морской рыбы: ящики этой рыбы, сколоченные из легчайшей сосновой планки, золотисто-желтые и битком набитые рыбой - копченой речной камбалой и копченым угрем, шпротами, россыпью и в низках, речными мино-

гами, копчушкой, а также знаменитым здешним лососем, как холодного, так и горячего копчения, - красуясь выжженным на верхней стороне наименованием фирмы: "А.Амзель. Свежая и копченая рыба. Шивенхорст", - доставлялись в Данциг, на Главный рынок, огромное кирпичное здание между Лавандовым и Юнкерским переулками, между Доминиканской церковью и Староградским рвом, где и вскрывались с помощью средней монтировочной лопатки, в просторечии "фомки". С сухим треском отскакивала крышка, со скрипом вылезали из боковинных досок гвозди - и вот свет из новоготических стрельчатых окон Главного рынка уже падает на золотистые спинки свежекопченой рыбы.

А сверх того, как делец с дальним прицелом, которому отнюдь не безразлична судьба рыбацких коптилен в дельте Вислы и на всей косе, Альбрехт Амзель держал своего печника по каминам, благо от Пленендорфа до Айнлаге, то есть во всех деревнях вдоль Мертвой Вислы, внешний вид которых благодаря торчавшим в небо трубам коптилен приобретал причудливое сходство с руинами, этому печнику всегда работы хватало: то прочистить камин, в котором ослабла тяга, а то и перебрать наново один из тех гигантских коптильных каминов, что гордо возвышались на рыбацких дворах, превосходя ростом и кусты сирени, и сами понурые рыбацкие хижины, - и все это под вывеской Альбрехта Амзеля, которого, и не без оснований, называли богачом. Так и говорили: "Амзель-богач" или еще "Амзель-жид". Разумеется, никаким жидом Амзель не был. И хотя и меннонитом он не был тоже, но все же называл себя добрым христианином евангелического вероисповедания, держал в рыбацкой церкви в Бонзаке постоянное место, которое каждое воскресенье было занято, и женился на Лоттхен Тиде, рыжеволосой и склонной к полноте дочери зажиточного крестьянина из Грос-Цюндера. Что примерно должно означать: да как это Альбрехт Амзель мог быть жидом, если кулак Тиде, выезжавший в Кэземарк из Грос-Цюндера не иначе как на четверке лошадей и в лакированных сапогах, который к самому окружному советнику захаживал как к себе домой, который сыновей своих отдал служить в кавалерию, и не куда-нибудь, а в очень даже недешевые лангфурские гусары, - все-таки отдал ему свою дочь Лоттхен в жены.

Потом, правда, многие стали поговаривать, что старик Тиде отдал свою Лоттхен за Амзеля-жида только потому, что он, как и многие другие крестьяне, торговцы, рыбаки и мельники, в том числе и мельник Матерн, многовато - для дальнейшего существования четверки лошадей просто опасно много - Альбрехту Амзелю задолжал. А кроме того, говорили еще, явно желая что-то доказать, что Альбрехт Амзель в свое время решительно не одобрял все меры окружной комиссии по регулированию рынка, направленные на поощрение свиноводства.

Брауксель, которому все известно лучше, чем кому-либо, пока что подводит под всеми этими домыслами промежуточную черту, ибо Альбрехт Амзель - неважно, любовь или долговые векселя привели к нему в дом Лоттхен Тиде, сидел он в рыбацкой церкви в Бонзаке евреем-выкрестом или обычным крещеным христианином, - Альбрехт Амзель, предприимчивый основатель атлетического кружка "Бонзак-1905" и ведущий баритон местного церковного хора, дослужился на берегах Соммы и Марны до многожды орденоносца, лейтенанта запаса и сложил голову в девятьсот семнадцатом всего лишь за два месяца до рождения своего сына Эдуарда неподалеку от крепости Верден.

Девятая утренняя смена

Вальтер Матерн, подтолкнутый Овеном, увидел свет в апреле. Мартовские Рыбы, шустрые и талантливые, вытянули из материнского лона Эдуарда Амзеля. В мае, когда подгорел гусь, а старуха Матерн восстала из немощи, принял крещение сын мельника. И свершилось это по католическому обряду. Уже в конце апреля сын погибшего торговца Альбрехта Амзеля был крещен по доброму евангелическому обряду в рыбацкой церкви в Бонзаке и, по тамошнему обычаю, окроплен смесью пресной воды из Вислы и чуть солоноватой - из Балтийского моря.

Сколь бы ни отклонялись от мнения Браукселя иные хронисты, те, что вот уже девятую утреннюю смену подряд пишут с ним наперегонки, сколь бы ни расходились они с ним в других вопросах - в том, что касается младенца из Шивенхорста, все они вынуждены вместе с автором этих строк засвидетельствовать: Эдуард Амзель, Зайцингер, Золоторотик и как там его еще ни называли, останется среди персонажей, коим надлежит оживлять сей торжественный опус - ибо шахты Браукселя вот уже десять лет не выдают на-гора ни угля, ни руды, ни калийной соли, - наиболее динамичным героем, исключая разве что самого Браукселя.

С молодых ногтей призвание его было в изобретении птичьих пугал. И это при том, что против птиц как таковых он ничего не имел; зато уж птицы, сколько бы ни насчитывалось среди них видов и форм, мастей и разновидностей, судя по всему, много что имели против него и против его пугалотворческого духа. Сразу после крестин - колокола еще не успели отзвонить - они его уже распознали. Сам же крепыш Эдуард Амзель, лежа в своем нахрамленном крестильном конверте, никакого видимого интереса к пернатым не проявлял. Крестной матерью была Гертруда Карвайзе, которая потом исправно, из года в год аккуратно к Рождеству, вязала ему шерстяные носки. На ее сильных руках крестник был вынесен из церкви во главе многочисленной праздничной процессии, направлявшейся на нескончаемый и обильный праздничный обед. Сама вдова Амзель, в девичестве Тиде, осталась дома, наблюдая за приготовлениями к столу, давая последние указания на кухне и пробуя соусы. Зато все представители клана Тиде из Грос-Цюндера, за исключением четверых сыновей, несших свою опасную службу в кавалерии, - позже третий сын и вправду погиб, - тяжело ступая в своих добротных сукнах, потянулись вслед за младенцем. Процессия двинулась вдоль Мертвой Вислы: шивенхорстские рыбаки Кристиан Гломме и его жена Марта Гломме, урожденная Лидке; Герберт Кинаст и его жена Иоганна, урожденная Пробст; Карл-Якоб Айке, чей сын Даниэль Айке нашел свою смерть на Доггер-банке под флагом кайзеровского военно-морского флота; рыбацкая вдова Бригитта Кабус, чей куттер водил теперь ее брат Якоб Ниленц; а между невестками Эрнста Вильгельма Тиде, которые, щеголяя в розовом, ярко-зеленом и фиалково-голубом, цокали каблучками, черным свежеччищенным пятном затесался старый пастор Блех - потомок того самого знаменитого дьякона А.-Ф.Блеха, который, будучи настоятелем церкви Святой Марии, написал хронику города Данцига с 1807 по 1814 год, то бишь когда город был под французами. Фридрих Больхаген, владелец большой копильни в Западном Нойфэре, шел бок о бок с отставным морским капитаном Бронсаром, который в военное время снова нашел себе применение в качестве добровольца-смотрителя плендорфских шлюзов. Август Шпонагель, владелец трактира из Весслинкена, на целую голову превосходил ростом свою спутницу, майоршу фон Анкум. Поскольку Дирка Генриха фон Анкума, хозяина поместья в Кляйн-Цюндере, с начала пятнадцатого года уже не было в живых, Шпонагель подставлял ма-

йорше свой безупречно прямоугольный локоть. Замыкали процессию вслед за супружеской четой Бузениц, что вела в Бонзаке угольную торговлю, шивенхорстский сельский учитель, инвалид Эрих Лау, и его бывшая в ту пору уже почти на сносях жена Маргарета Лау - дочь никельсвальденского сельского учителя Момбера, она не могла позволить себе мезальянс. Смотритель дамб Хаберланд, поскольку он был строго при исполнении, с явным сожалением откланялся сразу после выхода из церкви. Впрочем, не исключено, что шествие усугубляла в длину пригоршня детей, сплошь чересчур белокурых и слишком нарядно одетых.

По песчаным тропкам, которые лишь приличия ради слегка прикрывали извилистые корни прибрежных сосен, общество двигалось правым берегом вдоль реки к поджидающим его повозкам-двойкам, а сам старик Тиде - к своей четверке, за которую он, несмотря на тяготы военного времени и нехватку лошадей, по-прежнему упрямо держался. Песок в туфлях. Капитан Бронсар без умолку громко смеется, потом долго кашляет. Разговоры явно откладываются на после обеда. Прибрежная роща дышит Пруссией. Еле-еле течет река, старица Вислы, к которой лишь благодаря впадению Мотлавы возвращается некое подобие жизни. Солнце бережно освещает праздничные наряды. Невестки старика Тиде зябнут, отсвечивая розовым, ярко-зеленым, фиалково-голубым, и, наверное, не отказались бы от теплых вдовьих платков. Не исключено, что обилие вдовьего черного цвета, статная фигура майорши и величественно ковыляющий подле нее инвалид дали решающий толчок событию, которое, похоже, готовилось с самого начала. Едва процессия вышла из церкви, как над церковной площадью тучей взмыли в воздух обычно почти неподвижные чайки. Не голуби, нет, - на рыбачьих церквях живут чайки, а не голуби. Теперь же из камышей и прибрежной ряски, веером и поодиночке, наискось и пулей вверх, взлетают в воздух выпи, крачки, чирки. Куда-то разом исчезли все чомги. С крон прибрежных сосен неведомой силой поднимает в воздух воронье. Скворцы и дрозды, как по команде, покидают кладбища и палисадники возле беленых рыбацких хижин. Из кустов сирени и боярышника брызгают трясогузки, синицы, щеглы, малиновки и вообще все, кто там гнездится; целые облака воробьев с проводов и из сточных канав; ласточки с амбаров и из-под крыш; словом, все живое, что принято относить к семейству пернатых, взмывает ввысь, рассеивается, улетает стрелой и со свистом, едва завидев нарядный конверт с крестником-младенцем, уносится, постепенно образует черную, зловещую, рваную и мечущуюся по краям тучу, в которую без разбора сбиваются даже птицы, обычно друг друга избегающие: чайки и вороны, пара ястребов среди перепуганных певчих птах, а уж сороки, сороки!

И вот пять сотен птиц, не считая воробьев, темной массой мечутся где-то между людьми и солнцем, пять сотен птиц то и дело отбрасывают на торжественную процессию и на крестника - виновника тожества - тревожную тень, полную значения и смысла.

И пять сотен птиц - ибо кто же считает воробьев? - способны, оказывается, привести гостей в замешательство, отчего они, от инвалида учителя Лау до всего клана Тиде, все теснее жмутся друг к другу и сперва молча, а потом все явственней бормоча и все пугливее поглядывая на небо, прибавляют шагу, причем задние напирают на передних, и постепенно переходят на бодрую рысцу. Август Шпонагель спотыкается о сосновые корни. Между капитаном Бронсаром и пастором Блехом, который то ли просто робко воздевает руки к небу, то ли наспех обозначает профессиональный жест усмирения стихий, вклинивается, подхватив юбки, словно в ливень, исполинская

фигура майорши и увлекает за собой всех - Гломмов и Кинаста с женой, Айке и вдову Кабус, Больхагена и чету Бузениц; даже инвалид Лау и его супруга на сносках, которая вскоре, но отнюдь не прежде срока, разродится здоровенькой девочкой, хоть и задыхаются, но поспевают за остальными; и только крестная мать, не выпуская из сильных рук крестника-младенца в слегка сбившемся конверте, мало-помалу отстает и самой последней достигает спасительных повозок-двоек и гордой четверной старика Тиде, что ждут их под первыми тополями проселочной дороги на Шивенхорст.

Кричал ли младенец? Нет, даже не хныкал, но и не спал при этом. Рассеялась ли черная туча из пяти сотен птиц и несчетного числа воробьев после того, как праздничный кортеж отнюдь не торжественно, а спешно, чтобы не сказать стремглав, тронулся восвояси? Нет, она долго еще беспокойно кружила над ленивой рекой: то нависала над Бонзаком, то стрелой проносилась над прибрежной рощей и дюнами, а потом растянулась широкой, подрагивающей полосой над противоположным берегом и обронила на болотистый луг ворону - мертвая птица долго еще выделялась на сочной мураве серым неподвижным пятном. Лишь когда повозки въехали в Шивенхорст, туча стала распадаться на различные породы и так, отрядами, возвращаться на церковную площадь и кладбище, в палисадники и под крыши амбаров, в прибрежный камыш и кусты сирени, на кроны сосен; но до самого вечера, когда гости, давно уже сыты и пьяны, грузно попирали локтями длинный праздничный стол, в разновеликих птичьих сердцах царило смятение: ибо пугалотворческий дух Эдуарда Амзеля дал о себе знать всем птицам, когда сам творец еще лежал в своем крестильном конверте. И с тех пор птицы об этом не забывали.

Десятая утренняя смена

Так кто-нибудь хочет знать, был все-таки Альбрехт Амзель, торговец и лейтенант запаса, евреем или нет? Уж вовсе без причины не стали бы, наверно, в Шивенхорсте, Айнлаге и Нойфэре звать его "богатым жидом". А фамилия? Разве не типично еврейская? Что? Просто дрозд по-голландски? А в средние века голландские переселенцы осушали тут долину Вислы? И принесли с собой всякие словечки, имена-фамилии и ветряные мельницы?

После того как Брауксель на протяжении уже отработанных утренних смен столько раз заверял, что А. Амзель не был евреем - да вот же, достословно утверждал: "Разумеется, никаким жидом Амзель не был", - он теперь с тем же полным правом - ибо всякое происхождение есть понятие произвольное и условное - может смело заявить: "Разумеется, Альбрехт Амзель был евреем". Родом он из прусского Штаргарда, из давно осевшей семьи еврейского портного, но уже в юности, шестнадцатилетним пареньком, вынужден был, поскольку в родительском доме было семеро по лавкам, покинуть отчий кров и тронуться в сторону Шнайдемюля, Франкфурта-на-Одере, а потом и Берлина, чтобы четырнадцатью годами позднее, уже обращенным правоверным и зажиточным христианином, добраться - через Шнайдемюль, Нойштадт и Диршау - до устья Вислы. Тому самому "стежку", который сделал Шивенхорст деревней на реке, в ту пору, когда Альбрехт Амзель здесь столь выгодно обосновался, еще и года не стукнуло.

Итак, он открыл здесь свою лавку. А что еще ему здесь было открывать? Пел в церковном хоре. А почему ему не петь в хоре, когда у него такой баритон? Основал вместе с другими атлетический кружок и пуще всех прочих

жителей был свято убежден, что он, Альбрехт Амзель, никакой не еврей, а фамилия Амзель происходит из голландского; сколько вон людей с фамилией Шпехт, что означает попросту "дятел", а знаменитый путешественник, исследователь Африки, так и вовсе был Нахтигаль, то бишь "соловей", и только Адлер - "орел" - это уж точно еврейская фамилия, но никак не Амзель-дрозд: портновский сын четырнадцать лет весьма усердно предавался забвению своего происхождения и лишь между делом, попутно, но не менее успешно - сколачиванием своего правоверно-евангелического достатка.

А между тем в году одна тысяча девятьсот третьем некий молодой, но не по годам многоумный человек по имени Отто Вайнингер написал книгу. Неповторимое это произведение называлось "Пол и характер", оно было издано в Вене и в Лейпциге и на протяжении шестисот страниц доказывало, что у женщины душа отсутствует. Так как тема эта во времена эмансипации оказалась весьма актуальной, в особенности же потому, что в тринадцатой главе сего неповторимого произведения - она называлась "Еврейство" - доказывалось, что, поелику евреи относятся к женской расе, то душа отсутствует и у евреев, книжная новинка, достигнув высоких, поистине головокружительных тиражей, стала неотъемлемым предметом семейного обихода даже в тех домах, где, кроме Библии, других книг отродясь не держали.

Так гениальное произведение Вайнингера очутилось и в доме Альбрехта Амзеля.

Возможно, торговец никогда бы и не раскрыл сей толстенный фолиант, знай он, что некий господин Пфенниг вот-вот публично назовет Отто Вайнингера плагиатором. Ибо уже в году одна тысяча девятьсот шестом в свет вышла весьма злая брошюра, которая в грубой форме выдвигала обвинения против покойного Вайнингера - многомудрый молодой человек тем временем успел наложить на себя руки - и его коллеги Свободы. Даже Зигмунд Фрейд, отозвавшийся о покойном Вайнингере как о "высокоодаренном юноше", сколь ни осуждал он недопустимый тон брошюры, не мог закрыть глаза на документально зафиксированный факт: главная идея Вайнингера - догадка о бисексуальности - была не оригинальна, ибо первым она осенила некоего господина Флиса.

Итак, в полном неведении относительно всего этого, Альбрехт Амзель раскрыл книгу и прочел у Вайнингера (который посредством сноски не преминул мужественно сообщить, что и себя считает представителем еврейства), что у еврея, оказывается, нет души. Еврей не поет. Еврей не занимается спортом. Еврей должен преодолеть в себе свое еврейство... Вот Альбрехт Амзель и стал оное в себе преодолевать, распевая в церковном хоре, основав атлетический кружок "Бонзак-1905", и не только основав, но еще и регулярно, в соответствующем костюме, становясь с сотоварищами в шеренгу, кувыряясь на поперечных брусках и на перекладине, прыгая в длину и в высоту, тренируясь в эстафетном беге и насаждая (опять-таки в качестве первопроходца и наперекор ретроградам) по обе стороны всех трех рукавов Вислы относительно новый тогда вид спорта - игру в лапту.

Брауксель, который с полным знанием дела ведет сию хронику, подобно всем прочим сельским жителям здешних мест так никогда и ничего не узнал бы ни о прусском городишке Штаргард, ни о закройщике - дедушке Эдуарда Амзеля, если бы Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, до конца держала язык за зубами. Много лет спустя после того рокового дня под Верденом она, однако, все же проболталась.

Молодой Амзель, о котором в дальнейшем, хотя и не без перерывов, и пойдет здесь речь, примчался из города к смертному одру своей матери, и

та, не в силах более сопротивляться сахарной болезни, прошептала горячечными губами сыну на ухо:

- Ох, сыночек. Прости твоей бедной мамке. Амзель, папка твой, которого ты хоть и не знаешь, но который и вправду твой кровный отец, был, прости Господи, из обрезанных, как говорится. Смотри, как бы тебя на этом не прищучили, коли у них нынче с законами такие строгости.

Эдуард Амзель унаследовал во времена строгих законов - которые, однако, на территории вольного города Данцига еще не применялись - семейное дело и состояние, дом и все имущество, среди которого имелась и полка с книгами: "Прусские короли", "Великие мужи Пруссии", "Старый Фриц", "Анекдоты", "Граф Шлиффен", "Хорал человеческий", "Фридрих и Катте", "Барбарина" - и несравненное творение Отто Вайнингера, с которым Амзель, в отличие от других книг, постепенно утраченных и исчезнувших, впредь не разлучался. Он читал ее то и дело, хотя и на свой манер, читал и пометки на полях, оставленные рукой исправно певшего и занимавшегося спортом родителя, пронес книгу через все лихолетья и позаботился о том, чтобы она и сейчас лежала на столе у Браукселя, готовая открыться сегодня и в любую другую минуту: Вайнингер уже успел одарить автора этих строк не одним озарением. В конце концов, пугала создаются по образу и подобию человеческого.

Одиннадцатая утренняя смена

Волосы у Браукселя отрастают. Пишет ли он свою хронику или командует шахтой - они отрастают. Ест ли он или ходит, подремывает, дышит или задерживает дыхание, покуда утренняя смена заступает, а ночная, наоборот, кончает работу и воробьи возвещают новый день, - волосы растут. И даже когда парикмахер недрогнувшей рукой укорачивает Браукселя волосы в соответствии с его просьбой и прихотью, поскольку, видите ли, год идет к концу, - волосы продолжают расти прямо под ножницами. Когда-нибудь Брауксель, как и Вайнингер, умрет, но его волосы, равно как и ногти на руках и ногах, на какое-то время переживут своего обладателя - точно так же, как и данное пособие по конструированию эффективных птичьих пугал найдет себе читателей даже тогда, когда автора этих строк давно не будет на свете.

Итак, вчера речь зашла о строгих законах. Но во времена, о которых сегодня толкует наше только начинающееся повествование, законы пока что снисходительны и происхождение Амзеля вообще никак не карают; Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, еще знать не знает об ужасной сахарной болезни; Альбрехт Амзель еще, "разумеется", вовсе никакой не еврей; Эдуард Амзель, тоже правоверный евангелический христианин, унаследовав от своей матери пышные, быстро отрастающие светло-рыжие волосы, увальнем-колобком слоняется среди сохнувших рыбацких сетей, сияя всеми своими веснушками, и смотрит на окружающий мир преимущественно сквозь ячеистую кисею сетей; неудивительно, что уже вскоре ему весь мир начинает видиться в косую мелкую клеточку, к тому же под конвоем бесчисленных жердин.

Птичьи пугала! Со всей определенностью здесь следует заявить: поначалу маленький Эдуард Амзель - а свое первое достойное упоминания пугало он соорудил пяти с половиной лет от роду - вовсе не имел намерения создавать именно птичьи пугала. Однако и местные жители, и проезжий народ - страховые агенты, страшавшие всех пожаром, коммивояжеры с образцами по-

севного зерна, крестьяне, возвращавшиеся от нотариуса, - все, кто наблюдал за мальчонкой, когда тот ставил на дамбе возле пристани свои причудливые фигуры, заставляя их трепетать на ветру, почему-то мыслили именно в этом направлении; покуда старик Криве так прямо и не сказал Герберту Кинасту:

- Слышь, сосед, глянь-ка, чего Амзелью его малец понастроил. Ни дать ни взять пугала огородные, честное слово!

Как и в день своих крестин, так и позже Эдуард Амзель ничего не имел против птиц; однако по обе стороны Вислы любая пернатая тварь, способная рассекать крыльями воздух или просто парить на ветру, не в состоянии была ужиться с продуктами его творчества, именуемыми в народе "птичьими пугалами". Продукты эти - а он создавал по штуке в день - никогда не повторяли друг друга. Изделие, которое он, вооружившись всего-навсего шаткой, да к тому же ущербной стремянкой и охапкой свежих ивовых веток, за каких-нибудь три часа работы сотворял вчера из полосатых штанов, некоего загадочного лоскута в крупную клетку, долженствующего изображать сюртук, и старой шляпы без полей, на следующее же утро безжалостно разбиралось, дабы из тех же реквизитов создать некий уникум другого рода и племени, пола и вероисповедания, но в любом случае нечто такое, от чего все птицы предпочитали держаться на расстоянии.

И хотя все эти преходящие сооружения всякий раз несомненно свидетельствовали о живейшей и неумной фантазии автора, истинную силу изделиям Амзеля сообщала все же именно его неусыпная тяга к многосложностям реальной жизни: любознательный взгляд его беспокойных глазенок над пухлыми щечками неизменно и цепко выхватывал из гущи бытия какую-то одну деталь, которая и придавала художественному продукту окончательную убедительность и функциональную действенность птичьего пугала. Они, эти изделия, отличались от общепринятых и традиционных пугал, что в изобилии населяли окрестные сады, поля и огороды, не только формально, но и по силе воздействия: ибо если всякое другое пугало производило на птичий мир лишь скромный, малозаметный и почти не поддающийся учету эффект, то творения Амзеля, созданные не для устрашения и вообще без всякой видимой цели, способны были посеять среди пернатых настоящую панику.

Пугала его казались живыми, да они и были живыми, стоило чуть подольше на них посмотреть хотя бы в процессе их сотворения или в виде торса, когда он их разбирал, - в них все дышало жизнью! Вот они пустились взапуски по дамбе, бегут, машут, грозят кому-то, нападают, бьют, кого-то приветствуют на том берегу или, подхваченные ветром, парят в воздухе, ведут беседы с солнцем, благословляют реку и рыб в реке, пересчитывают тополя, обгоняют облака, обламывают маковки колоколен, хотят переправиться на небо, взять на бордаж паром, преследуют, шлют проклятья - ибо это не какие-нибудь анонимные фигуры, они всегда кого-то обозначают: рыбака Иоганна Ликфетта, пастора Блеха, снова и снова, в бесчисленных вариантах, паромщика Криве - рот разинут, башка набекрень, - Бронсара, инспектора Хаберланда и вообще всякого, кого только не носит на себе плоская, как стол, пойма Вислы. Даже мосластая майорша фон Анкум, хотя ее имение-развалюха было в далеком Кляйн-Цюндере и на пароме она позировала крайне редко, и та в виде гигантской ведьмы утвердилась на шивенхорстской дамбе и отпугивала не только птиц, но и детей.

А несколько позже, когда Эдуард Амзель пошел в школу, настал черед господина Ольшевского, молодого учителя начальной сельской школы в Никельсвальде - в Шивенхорсте своей школы не было, - столбенеть от удивле-

ния, когда самый веснушчатый его ученик водрузил своего наставника в виде птичьего пугала на самой большой дамбе по правую руку от устья. На самом гребне дамбы, среди девяти покореженных ветром сосен, Амзель установил фигуру учительского двойника, для пущей наглядности положив к его ногам, под самые мыски его парусиновых туфель, всю плоскую, как сковородка, Большую пойму Вислы до самого Ногата, а сверх того - всю песчаную косу вплоть до неприступных башен города Данцига, до холмов и лесов за городом, а вдобавок еще и реку от устья до самого горизонта, и открытое море вплоть до смутно угадывающегося полуострова Хела, включая корабли, что бросили якорь на рейде.

Двенадцатая утренняя смена

Год близится к концу. Странное окончание для года, поскольку из-за берлинского кризиса и новоявленной берлинской стены на Новый год разрешено запускать только осветительные ракеты, а петарды - ни под каким видом. К тому же здесь, в федеральной земле Нижняя Саксония, только что схоронили Хинриха Копфа, прирожденного отца нашего края, - одной причиной больше, чтобы не запускать в новогоднюю полночь искрометные хлопушки-шутихи. По согласованию с производственным комитетом Брауксель заблаговременно распорядился вывесить на проходной и в здании конторы, а также на приемной площадке и на рудничном дворе объявления следующего содержания: "Всем рабочим и служащим фирмы "Брауксель и Ко. Экспорт-импорт" рекомендуется, учитывая серьезность момента, отметить новогодний праздник без лишнего шума". Кроме того, автор этих строк, не удержавшись от соблазна самоцитирования, заказал в типографии на бумаге ручной выделки партию открыток, на которых с большим вкусом воспроизведено изречение: "Пугала создаются по образу и подобию человеческому", кои открытки в качестве новогоднего привета он и разослал клиентам и деловым партнерам.

Первый школьный год Эдуарду Амзелю пришлось осиливать в одиночку. Сдобный колобок, усеянный веснушками, он был один такой на обе деревни, и притом каждый день на виду, - немудрено, что ему выпала роль мальчика для битья. Какие бы игры ни затевало местное юношество, он принимал в них непременно участие, а вернее, его непременно делали их участником. Правда, хотя малыш Амзель и плакал, когда ватага мальчишек затаскивала его в крапивные заросли, что за сараем у Фольхерта, или, привязав трухлявыми, провонявшими дегтем веревками к столбу, в том же сарае подвергла его пусть не слишком изощренным, но все равно мучительным "пыткам", - однако сквозь слезы, которые, как известно, сообщают нашему зрению хотя и расплывчатую, но все же на редкость истинную и точную оптику, его серо-зеленые, заплывшие пухлым детским жирком глазки не упускали случая подметить, оценить и "ухватить" типичные движения и жесты мучителей. И вот два-три дня спустя после очередных колотушек - не исключено, что на десять ударов среди прочих ругательств и обидных кличек приходилось и одно не обязательно с пониманием смысла выкрикнутое словечко "абрашка!" - та же самая сцена избиения совершалась еще раз в прибрежном лесу, в дюнах или прямо на вылизанном прибоем песке, воссозданная в многорукой свистопляске одного-единственного пугала.

Этим регулярным колотушкам, равно как и их последующему художественному воспроизведению, положил конец Вальтер Матерн. Именно он, хотя не-

которое время и лупил Амзеля вместе со всеми и даже, не слишком, правда, вникая в смысл, пустил в оборот кличку "абрашка", в один прекрасный день, возможно вспомнив обнаруженное им накануне на морском берегу, хотя и растрепанное ветром, но яростное, дикое, свирепо размахивающее вокруг себя кулачищами, не совсем даже на него похожее, а как бы воспроизводящее его в девятикратном умножении "пугало", - вдруг посреди драки опустил руки, дал им, так сказать, на промежуток в пять ударов остыть и одуматься, после чего принялся лупить снова: но теперь уже не малышу Амзелю надо было сжиматься и прятать голову от этих расходившихся кулаков, теперь удары сыпались на оставшихся мучителей Амзеля, и Вальтер Матерн наносил их с таким остервенением, так истово поскрипывая зубами, что он долго еще молотил кулаками теплый летний воздух за сараем Фольхерта, прежде чем понял, что никого, кроме изумленно вылупившегося на него Амзеля, вокруг не осталось.

Дружбе, которая заключается во время драки или после нее, суждено, как правило, - мы знаем об этом из приключенческих фильмов - пройти затем еще не одну суровую и увлекательную проверку. Так и дружба Амзеля и Матерна будет подвергнута в этой книге - по одной только этой причине наше повествование затянется - еще многим испытаниям. Уже в самом начале, с большой, кстати, пользой для новой дружбы, кулакам Вальтера Матерна пришлось немало поработать, поскольку крестьянские и рыбацкие олухи никак не могли уразуметь смысл столь стремительно возникшего дружеского союза и по старой привычке, едва завидев робко выходящего из школы Амзеля, норовили утащить его за фольхертовский сарай. Ибо медленно течет Висла, медленно ветшают дамбы, медленно сменяются времена года, медленно плывут облака, медленно пробивается паром, медленно приходит электричество на смену керосиновым лампам, так что и в деревнях по обе стороны Вислы тоже не до всех и не сразу дошло: кто хочет потолковать с Амзелем-коротышкой, сперва должен с Вальтером Матерном словечком перемолвиться. И тайна этой удивительной дружбы постепенно стала творить чудеса. Одна и та же картина, символизируя собой обилие и пестроцветье множества других житейских эпизодов этой ранней дружбы, разыгрывающаяся на фоне незыблемых статичных фигур деревенского бытия - хозяин и работник, пастор и учитель, почтальон и лодочник, владелец сыроварни и инспектор объединения молочников, лесничий и деревенский сумасшедший, - запечатлелась в своей неповторимости навсегда, хотя никто не заснял ее на фотоленку: где-нибудь в дюнах, спиной к прибрежному лесу со всеми его отрадами и прелестями, работает Амзель. На песке в обозримом порядке разложены предметы одежды самых разных видов и форм. Законы моды тут не властны. Придавленные к поверхности земли горками песка или сучьями потяжелее, дабы их не унесло ветром, здесь мирно соседствуют фрагменты обмундирования доблестно сгинувшего прусского воинства с не менее доблестно задубевшим и забуревшим тряпьем - трофеями последнего паводка: ночные рубахи и сюртуки, штаны без поясной части, кухонные тряпки, фуфайки, скукоженный парадный мундир, шторы с дырками-гляделками, майка, лацканы, кучерские камзолы, набрюшники и нагрудники, траченные молью ковры, галстуки, вывернутые кишкой, флажки от стрелкового праздника и целое скатертное приданое - все это изрядно воняет и притягивает мух. Гусеница-многочлен из войлочных, фетровых и соломенных шапочек, шляп, а также всевозможных кепок, армейских касок, ночных колпаков, беретов вьется, норовя укусить себя за хвост, беззастенчиво являет миру каждый предмет своих сочленений и, тоже облепленная мухами, ждет своего часа. Солнечный

свет падает на воткнутые в песок штакетины, обломки стремянок и приставных лестниц, жердины, гладкие и узловатые прогулочные трости и просто палки, прибитые к берегу морской волной или речным течением, заставляя их отбрасывать разновеликие, блуждающие, споспешествующие ходу времени тени. Тут же, поблизости, гора старых бинтов, проволоки от искусственных цветов, полуистлевшей бечевы, ветхой кожи, покрывал, шерстяной требухи и черной, осклизлой прессованной соломы, сорванной ветром с крыш крестьянских овинов. Пузатые бутылки, подойники без дна, ночные посудины и просто кастрюли лежат отдельно. И среди всех этих сокровищ, гляди-ка, неожиданно резвый и прыткий - Эдуард Амзель. Взмокший, босой, прыгает прямо по песчаным колючкам, постанывая, прихрюкивая, похихикивая, уже воткнул в песок жердину, поперечиной приложил к ней штакетину, набросил проволоку - он не связывает, а именно набрасывает внахлест, и все прекрасно держится, - затем в три витка обвивает эту конструкцию красно-бурым, с серебряной ниткой, покрывалом, милостиво позволяет горшку из-под горчицы, увенчавшему себя пучком соломы, превратиться в голову, сперва отдает предпочтение плоской шляпе-тарелке, потом меняет студенческую шапочку на квакерский котелок, после чего, разметав всю гусеницу из головных уборов и всполошив целое полчище разноцветных и жирных пляжных мух, на короткое время останавливает свой выбор на ночном колпаке, чтобы в конечном счете утвердить на макушке пугала чехол для кофейника, которому последнее наводнение придало еще более выразительную форму. Он вовремя успевает смекнуть, что для завершения образа недостает еще жилетки, и не простой, а с шелковой спинкой, с безошибочным чутьем опытного старьевщика выхватывает из вороха тряпья и хлама то, что нужно, и, почти не глядя, уверенным движением набрасывает жилетку на плечи своего очередного детища. И вот уже он втыкает скособоленную убогую лесенку слева, две палки крест-накрест, в человеческий рост, справа, скашивает разболтанный кусок садовой ограды из трех штакетин, превратив его во фрагмент какой-то расхристанной арабески, набрасывает сверху, коротко прицелившись и точно попав, какую-то задубевшую хламиду, с треском и хрустом все это стягивает и укрепляет, затем с помощью всякого шерстяного отрепья придает этой фигуре, этому форейтеру, возглавляющему всю группу, некую военно-командную статью, и в тот же миг, сгибаясь под ворохом тряпья, увешанный обрезками кожи, обмотанный веревками, увенчанный сразу семью шляпами и нимбом гудящих мух, он уже скатывается по склону куда-то вниз и вбок, даже не оглядываясь на то, что осталось позади и что по мере его удаления все явственнее обретает очертания птицеустрашающего образа; ибо со стороны дюн, из камыша, осоки, с пышных крон прибрежного сосняка некая сила уже поднимает в воздух как обычных, так и - с орнитологической точки зрения - редких птиц. Причина и следствие: та же сила сбивает их в тучу высоко над тем местом, где работает Эдуард Амзель. Своим причудливым птичьим шрифтом они выписывают на небе все более резкие, вихлявые и стремительные каракули страха. В этом тексте явственно варьируется на все лады корень "кар-р", слышно и его вихревое ответвление "мару-кру", он заканчивается - если вообще заканчивается - щемящим звуком "пи-и-и", но расцвечен и широчайшим спектром других фонетических ферментов, начиная от бессчетных "тю-и-ить" и множества "э-эк" и кончая рывканьем кряквы и истошными завываниями выпи. Нет такого ужаса, который, будучи разбужен творением Амзеля, не смог бы выразить себя в звуке. Но кто же, коли так, обходит дозором сыпучие гребни дюн, обеспечивая птицеустрашающей работе друга столь необходимый для творчества покой?

Вот они - эти кулаки, а вот и их хозяин Вальтер Матерн. Ему семь лет, и взгляд его серых глаз скользит по морю, словно море принадлежит только ему. Молодая сука Сента залиvisto лает на астматическую балтийскую волну. Перкуна больше нет. Его унесла одна из многочисленных собачьих болезней. Перкун зачал Сенту. Сента, из рода Перкуна, родит Харраса. Харрас, из рода Перкуна, зачат Принца. Принц же, из рода Перкуна, Сенты и Харраса, - а в начале начал хрипло воем литовская волчица - будет творить историю... но пока что Сента залиvisto облаивает хилое Балтийское море. Хозяин же ее стоит босиком на песке. Одним только усилием воли и легкой вибрацией, от ступни до колен, он способен все глубже и глубже вбуравливаться в дюны. Песок вот-вот достигнет потрепанных обшлагов его вельветовых, задубевших от морской воды брючин - но тут Вальтер Матерн прыг из песка, песок по ветру, а сам он уже вниз по склону, и Сента прочь от мелкой воды, должно быть, оба что-то учуяли, оба - он коричнево-зеленый, вельвет и шерсть, она черная, вытянувшись стрелой, - перемархивают через вершину соседней дюны, бросаются в камыши, выныривают на миг где-то совсем в другом месте, снова исчезают и затем - ленивое море едва успевает шестой раз лизнуть прибрежный песок - нехотя и тоскливо возвращаются назад. Ничего. Наверно, ничего и не было. Шиш с маслом. Дырка от бублика. Даже не кролик.

А наверно, там, где со стороны Путцигского Угла по направлению к Хоффу по яркой синьке неба тянутся аккуратные, почти одинаковые, словно нарисованные облака, неугомонные птицы своим истошно-пронзительным криком не устают подтверждать, что не совсем еще завершенное Амзелем птичье пугало на самом деле давно, давным-давно готово.

Тринадцатая утренняя смена

Завершение года было встречено на производственной территории с благодарным спокойствием. Подмастерья, под присмотром штейгера Вернике, запустили с башни копра несколько веселеньких ракет, огненными линиями воспроизведших на небе наш фирменный знак, небезызвестный пернатый мотив. К сожалению, была слишком низкая облачность, что помешало волшебству развернуться в полную силу.

Сотворение фигур, эта забава, свершавшаяся то в дюнах, то на гребне дамбы, то на черничной поляне береговой рожи, обрела дополнительный смысл, когда однажды вечером - паром уже кончил ходить - паромщик Криве провожал домой шивенхорстского сельского учителя и его дочурку в красно-белую клеточку, причем шли они как раз той лесной опушкой, на которой Эдуард Амзель под охраной верного друга Вальтера Матерна и собаки Сенты выстроил над крутым склоном лесной дюны шесть или семь своих изделий самого свежего изготовления, выстроил хотя и рядом, но даже не рядом и уж тем паче не шеренгой.

Вдали за Шивенхорстом нехотя заходило солнце. Друзья отбрасывали на песок длинные, долговязые тени. А поскольку даже при таком освещении тень Амзеля оставалась заметно толще, пусть закатывающееся светило и засвидетельствует весьма незаурядную упитанность мальчика - с годами эта его полнота только усугубится.

Оба не шелохнулись, когда кривой и задубелый Криве и увечный учитель Лау с плетущейся позади девчушкой и тремя тенями подошли ближе. Сента выжидала, изредка деловито почесываясь. Ничего не выражающим взглядом -

они частенько его тренировали - оба уставились вдаль, поверх выстроенных пугал, поверх скатывающейся вниз луговины, где обитают кроты, куда-то в направлении матерновской мельницы. Мельница, сидя гузном на козлах, хотя и вознесена округлым загривком холма на самое ветряное раздолье, крыльями не шевелила.

Но кто там стоит у подножия холма с огромным мешком муки, переломившимся через правое плечо? Да это же мельник Матерн, весь белый, стоит под мешком. И он тоже, как и крылья его мельницы, как и мальчишки на гребне дюны, как и Сента, застыл в неподвижности, хотя и совсем по другой причине.

Криве медленно вытянул вперед левую руку с корявым, бурым указательным пальцем. Хедвиг Лау, даже по будням одетая по-воскресному, буравила песок мыском лаковой туфельки с пряжкой. Указательный палец Криве уткнулся в экспозицию Амзеля:

- Вот это они самые и есть. - И его палец обстоятельно проследовал от одного пугала к другому. Мужичья, почти восьмиугольная голова Лау послушно поворачивалась в такт каждому перемещению сучковатого пальца паромщика, отставая, впрочем, до самого конца этого действия (а числом пугал было семь) ровно на два такта. - Этот малец делает такие пугала, что у тебя, кум, ни одной пичуги на огороде не останется.

Поскольку туфелька продолжала буравить песок, это движение передалось оборке платья и косичкам с бантиками из той же материи. Учитель Лау почесал под шапкой макушку и обтискал глазами уже степенно, с чувством, с толком, все семь пугал снова, но в обратном порядке. Амзель и Вальтер Матерн, усевшись на крутом гребне дюны, вразнобой болтают ногами и не сводят глаз с неподвижных крыльев далекой мельницы. Упитанные икры Амзеля туго перехвачены резинками гетр - в припухлостях розовой кожи есть что-то кукольно-голышовое. Белый мельник у подножия холма все еще стоит. Все так же покоится на его правом плече неподъемный шестипудовый мешок. И хотя самого мельника хорошо видно, мыслями он совсем не здесь.

- Слышь, браток, если хочешь, могу спросить у мальчика, сколько такое пугало может стоять, если оно вообще что-то стоит.

Медленнее, чем кивает мужичья голова сельского учителя, кивнуть просто невозможно. А у дочурки его каждый день воскресенье. Сента, навострив уши, ловит каждое движение, большинство из которых угадывает наперед: она еще слишком молодая собака, чтобы привыкнуть к нерасторопности человеческих указаний. Когда Амзеля крестили и птицы подали первый знак, Хедвиг Лау еще плавала в водах материнского лона. Морской песок очень портит лаковые туфельки. Криве в своих деревянных башмаках, нехотя повернув голову в сторону дюны, сплевывает куда-то вбок сгусток табачной жижи, который в песке тут же превращается в шарик, и произносит:

- Слышь, малец, тут кое-кто любопытствует, сколько такое вот пугало огородное может стоять, если оно вообще что-то стоит.

Нет, белый мельник вдалеке не уронил свой мешок, и Хедвиг Лау не перестала буравить песок мыском туфельки, только Сента подскочила, взметнув пыль, когда Эдуард Амзель свалился с гребня дюны. И покатился вниз, дважды перевернувшись через голову. И вскочил, как бы завершив тем самым два кувырка, и оказался аккурат посередине между двумя взрослыми мужчинами в суконных куртках, чуть-чуть не доходя до девчоночьей туфельки, что буравит песок.

Только тут наконец белый мельник тронулся с места и неторопливо, за шагом шаг, стал подниматься на вершину холма. Лаковая туфелька с пряжкой

прекратила буравить песок, красно-белое клетчатое платице и такие же бантики в косичках то и дело подрагивали, теперь от хихиканья, сухого и бестолкового, как вчерашние хлебные крошки. Стороны приступили к торгу. Амзель, ткнув большим пальцем вперед и вниз, указал на лаковые туфельки с пряжками. Решительно мотнув головой, учитель то ли дал понять, что туфельки вообще не продаются, то ли временно изъял их из продажи. Несостоятельность натурального обмена вызвала к жизни звон твердой валюты. Покуда Амзель и Криве (а вместе с ними, но гораздо медленнее, и сельский учитель Эрих Лау) подсчитывали и вычисляли, то и дело загибая и выбрасывая пальцы, Вальтер Матерн продолжал восседать на гребне дюны и, судя по звукам, которые он издавал зубами, явно не одобрял всю эту торговлю, которую он позже назовет "суетней".

Криве и Эдуард Амзель сумели договориться гораздо быстрее, чем учитель Лау кивнуть. Его дочурка уже снова буравила песок своей туфелькой. Отныне одно пугало стоило пятьдесят пфеннигов. Мельник исчез. Мельница замахала крыльями. Сента к ноге. За три пугала Амзель запросил один гульден. Сверх того он запросил - и не без оснований, поскольку торговлю надо развивать, - по три старые тряпки на каждое пугало и впридачу лаковые туфельки Хедвиг Лау, когда они будут сочтены изношенными.

О, этот деловитый и торжественный день, когда заключена первая сделка! На следующее утро сельский учитель благополучно переправил все три пугала в Шивенхорст и установил их в своей пшенице за железной дорогой. Поскольку Лау, как и многие крестьяне в долине, выращивал либо эппскую, либо куявскую пшеницу, то есть безостные сорта, особенно подверженные птичьей потраве, пугала Амзеля получили прекрасную возможность зарекомендовать себя в деле. В своих кофейниковых нахлобучках, с пучками соломы вместо волос и ремнями крест-накрест, они вполне могли сойти за трех последних гренадеров первого гвардейского полка после битвы при Торгау, которая, если верить Шлиффену, была просто смертоубийственной. Так уже сызмальства возобладало явное пристрастие Амзеля к чеканному образу прусского воинства. Как бы там ни было, а эти три головореза свое дело сделали - над вызревающим полем яровой пшеницы, где прежде господствовали птичий грай и разорение, воцарилась мертвая тишина.

Весть об этом разнеслась по округе. Уже вскоре стали приезжать крестьяне из соседних деревень по обе стороны Вислы, из Юнкеракера и Пазеварка, из Айнлаге и Шнакенбурга, но и из глубинки - из Юнгфера, Шарпау и Ладекоппа. Криве посредничал, но Амзель поначалу цены все равно не взвинчивал и принимал, после того как Вальтер Матерн сделал ему серьезное внушение, сперва лишь каждый второй, а потом - каждый третий заказ. И себе, и своим клиентам он объяснял, что халтурно работать не хочет, а потому будет производить на свет по одному, от силы - по два пугала за день. Всякую помощь он отклонял. Помогать позволялось лишь Вальтеру Матерну, который поставлял Амзелю сырье с обоих берегов и продолжал куда как надежно охранять художника и его творения с помощью двух своих кулаков и черной собаки.

Брауксель считает также необходимым сообщить, что уже вскоре у Амзеля было достаточно средств, чтобы за скромную плату снять у Фольхерта его хотя и развалюшистый, но все же запирающийся на замок сарай. В этом деревянном строении, пользовавшемся дурной славой, поскольку на одной из его балок якобы кто-то когда-то по какой-то причине повесился, то есть под крышей, которая способна вдохновить любого художника, хранилось все, что под рукой Амзеля должно было ожить в образе пугала. В дождливую по-

году сарай из склада превращался в мастерскую. Дело здесь было поставлено как у настоящего ремесленника, ибо Амзель работал на своем капитале: на свои деньги в магазине матери, то есть по оптово-закупочным ценам, он приобрел молотки, две ножовки, дрель, щипцы, клещи и кусачки, долото, стамеску и перочинный нож с тремя лезвиями, шилом, штопором и пилкой. Нож этот он подарил Вальтеру Матерну. А Вальтер Матерн два года спустя, когда он стоял на гребне дамбы и искал, да так и не нашел камень, швырнул этот нож вместо камня в половодную Вислу. Но об этом мы уже слышали.

Четырнадцатая утренняя смена

Некоторым господам не худо бы взять за образец рабочую тетрадь Амзеля, дабы научиться вести книгу как положено. Сколько уж раз Брауксель описывал обоим своим соавторам надлежащий порядок работы? Две поездки - обе, между прочим, за счет фирмы - сводили нас вместе, и обоим господам было предоставлено достаточно времени, дабы без всяких помех сделать необходимые записи, составить подробный план работы и всевозможные рабочие схемы. Вместо этого теперь в ответ сыплются вопросы: "Когда надо представить рукопись? Сколько строк должно быть в одной странице - тридцать или тридцать четыре? Вы действительно согласны с жанром писем или мне следует отдать предпочтение более современным формам в духе, допустим, французского "нового романа"? Удовлетворит ли Вас, если я опишу Штрисбах попросту как мелкий ручеек между Верхним Штрисом и Легштрисом? Или следует ввести исторический контекст, упомянув, допустим, пограничный спор между городом Данцигом и Оливой, монастырем цистерцианцев? В частности, охранное письмо герцога Святополка, внука Субислава I, основателя монастыря, от одна тысяча двести тридцать пятого года? Там Штрисбах упоминается в связи с Сасперским озером: "*Lacum Saspi usque in rivulum Strieza...*". Или охранную грамоту Мествина II от года одна тысяча двести восемьдесят третьего, где о пограничном ручье Штрисбахе сказано так: "*Praefatum rivulum Striesz usque in Vislam...*". Либо же охранное письмо с подтверждением всех владений монастырей Олива и Сарновиц от года одна тысяча двести девяносто первого? Там в одном месте Штрисбах пишется как "Стризде", а в другом сказано: "...*prefatum fluuium Strycze cum utroque littore a lacu Colpin unde scaturit descendendo in Wislam...*".

Другой господин соавтор тоже на ответные вопросы не скупится и в каждое письмо норовит вставить напоминание об авансе: "...если дозволено упомянуть об устной договоренности, согласно которой каждый соавтор, начиная работу над рукописью..." Что ж, да получит господин артист свой аванс. Но не худо бы ему при этом положить перед собой рабочую тетрадь Амзеля - если не подлинник, то хотя бы фотокопию, - и хранить ее как святыню.

Пусть его вдохновит хотя бы жанр бортового журнала. Ведется на любом корабле, даже на пароме. Возьмем, к примеру, Криве: рожа сыромятная, вся в бороздах, глаза что мартовские лужи, без ресниц вовсе, и к тому же косят, что позволяет ему, однако, водить свой паровой паром поперек течения, то бишь тоже наискось, точнехонько от одной пристани к другой. Повозки и экипажи, рыбных торговков с их вонючими коробами, пастора и школяров, просто проезжих и коммивояжеров с образцами товара, пассажирские и товарные вагончики местной узкоколейки, скотину убойную и племенную, свадьбы с молодоженами и похоронные процессии с венками и гробом - всех

их Криве переправлял через реку и все происшествия исправно заносил в бортовой журнал. Между обитым железом бортом парома и пристанью монетку не просунешь - так плотно, без малейшего стука умел причаливать Криве. К тому же дольше, чем кто-либо еще, он пробыл у наших друзей, Вальтера Матерна и Эдуарда Амзеля, надежным торговым агентом, не требуя с произведенных сделок никаких процентов, разве что иногда принимая в подарок табачок. А когда паром прекращал работу, он водил их обоих в места, одному ему, Криве, известные. Это он побудил Амзеля вплотную заняться изучением устрашающего действия ивы - ведь их, Криве и Амзеля, теории искусства, отразившись впоследствии в рабочем дневнике, вот к чему клонили: "Модели следует преимущественно заимствовать из природы". А уж позже, много лет спустя, под псевдонимом Зайцингер, Амзель развил этот тезис, записав в тот же дневник: "Все, что поддается набивке изнутри, принадлежит природе, включая, допустим, куклу".

Но та - полая - ива, к которой отвел друзей Криве, шевелила ветвями и была еще не набита. Вдали, на плоском фоне, машет крыльями мельница. Из-за поворота медленно выползает по узкоколейке последний поезд, пыхтя куда быстрее, чем он едет. Еще бы - масло растает! Молоко скиснет! Четыре босые ступни, два рыбацких сапога, пропитанные ворванью. Сперва дернина и крапива, потом клевер. Через два забора, три жердины отвалить, потом еще забор перелезть. И вдруг, по обе стороны ручья, ивы обступают на шаг ближе, на шаг дальше, оборачиваются, живые, бедрастые, даже с пупками; а одна - ибо даже среди ив бывает одна ива - была совсем-совсем пустая, покуда Амзель три дня спустя ее не набил; уселся толстячком-хозячком на корточках и изучает нутро ивы, потому что паромщик Криве сказал... А потом, выбравшись из огромного дупла, где он все обсмотрел, сидя на корточках, начинает внимательно обследовать все ивы по обоим берегам ручья, в особенности одну, о трех макушках, которая одной ногой на сухом берегу стоит, а другой в воде прохлаждается, потому что в незапамятные времена богатырь Милигедо, тот, что со свинцовой палицей, ей на пятку наступил, - вот ее-то Амзель и выберет моделью. И она стоит, не шелохнется. Хотя по виду - вот-вот сорвется прочь, тем более, что и туман - ведь рань несусветная, до школы еще сто лет, - туман с реки по лугам ползет-клубится, проглатывая ивы сперва по пояс, потом целиком, так что вскоре лишь три головы ивы-натурщицы будут плавать над туманной пеленой, о чем-то друг с дружкой переговариваясь.

Тут наконец Амзель вылезает из своего кокона, но хочет не обратно домой, к маме, которая и во сне ворочает свои амбарные книги, снова и снова все подсчитывая, а хочет, наоборот, быть свидетелем млечного часа, о котором говорил Криве. И Вальтер Матерн тоже хочет. А Сенты с ними нет, потому что Криве сказал:

- Ребятки, только псину с собой не брать, а то еще напугается и скулить начнет, когда дело до дела дойдет.

Что ж, без так без. Так что теперь между друзьями как бы пустое пятно о четырех лапах и с хвостом. Тишком босиком по серым лугам, с оглядкой назад, на клубящиеся клочья, то и дело подмывает свистнуть: "Сюда! К ногам!" - но идут молчком, потому что Криве сказал... Вдруг, прямо перед ними, как памятники - коровы в туманной мути. Тут же, неподалеку от коров, аккуратно посередке между байстеровскими льнами и ивами у ручья, они залегают прямо в росу и ждут. Серая пелена мало-помалу сползает с дамб и с прибрежного леса. Вдали, над туманом, над тополями вдоль шоссе, что на Пазеварк, Штеген и Штутхоф, скрестились крылья матерновской мельницы.

Неподвижные, будто выпиленные лобзиком. В такую рань даже мельник молот не станет. Даже петух не крикнет, но уже скоро. Безмолвно и близко, как призраки, бредут гуськом, наклоненные ветром в одну сторону, с северо-запада на юго-восток, девять береговых сосен по большой дюне. Жабы - или это волы? - жабы, а может, волы, надрываются что есть мочи. Лягушки, те понежней, будто молебны затянули. И комары в унисон. Вот кто-то - но вроде не чибис - то ли всполошился, то ли просто подал голос. Все еще ни одного петуха. Коровы, острова в тумане, сопят. Сердце Амзеля как булыжник по жестяной банке. Сердцем Матерна хоть дверь высаживай. Одна из коров мыкнула теплым мыком. Другие отозвались нутряным, утробным сапом. Сколько же звуков в рассветном тумане: сердце по жести и в дверь, кто-то кому-то голос, девять коров, жабы-волы, комары... И вдруг, вроде и знака никто не подал - безмолвно. Сгинули лягушки, нет ни жаб, ни волов, ни комаров, никто никого не зовет, не приманивает, не кличет, коровы ложатся в траву, а Амзель с другом, затаив дыхание, усмиряя сердце, вдавив ухо в росистый клевер, слышат: вот они! Ровное шуршание от ручья. Как будто мокрая тряпка по половицам, но равномерно и по нарастающей: плюх-плюх-пшиф - плюх-плюх-пшиф. Неужто водяные? Или безголовые монахи-ни? Кума лешего гномы? Да кто же это бродит? Неужто призрак или сам дьявол Злодей Асмодей? Или черный рыцарь Пиг-Пигуд? Или поджигатель Бобровский и его дружок Матерна, от которого все пошло? Дочка Кестутиса, ее, кажется, Туллой звали? И вдруг, вот они, высверком в траве, все еще в иле-тине, одиннадцать, пятнадцать, семнадцать бурых речных угрей ползут, плещутся в росе, извиваются, змеятся, проскальзывают сквозь клевер и рвутся все в одну сторону. Липкий-липкий извилистый след на примятой траве. Все еще в немоте жабы-волы и комары-мухи. Певуны лягушки тоже помалкивают. Никто не зовет и никто не отзывается. Теплые коровы грузно лежат на черно-белом боку. Каждая выставила вымя - бледно-розово-желтое, по-утреннему тугое: девять коров, тридцать шесть сосцов-титок, восемнадцать угрей. Тут на всех хватит, и вот они уже коричневато-черными шлангами приникли к розовато-пятнистым титькам: дружно-весело рядом смаком млеком-молоком... Сперва угри даже дрожат. Чья тут жажда, к кому-чему страсть? Потом, одна за другой, коровы роняют отяжелевшие головы в клевер. Течет молоко. Разбухают угри. Снова режут жабы. Запевают потихоньку комары. Лягушки-вокалистки подхватывают. Все еще ни одного петуха, но зато Вальтер Матерн сдавленным голосом. Хочет подскочить и поймать рукой. Это запросто, там делать нечего. Но Амзель не хочет, у него другое на уме, он уже делает наброски. И вот угри уже уползают обратно к ручью. Коровы вздыхают. Первый петух. Медленно поворачиваются крылья мельницы. Из-за поворота узкоколейки уже слышно первый поезд. Амзель задумал совсем новое пугало.

Сказано - сделано. Поскольку у Ликфеттов как раз был убой, свиной пузырь достался задарма. Вымя получилось хоть куда - тугое, звонкое. Копченые шкурки настоящих угрей, насаженные на проволоку, набитые соломой и зашитые, были прикреплены к пузырю по кругу, так что угри, словно толстые волосы, извивались и шевелились в воздухе вокруг головы-вымени. И вот, покачиваясь между двумя скрещенными палками, над пшеницей крестьянина Карвайзе поднялась голова Медузы.

И точно в том виде, в каком Карвайзе пугало купил - это уж потом оно было дополнено чем-то вроде мантии, когда на перекрестье палок набросили дырявую шкуру сдохшей коровы, - Амзель зарисовал новое пугало в свой рабочий дневник: сперва как первоначальный и куда более выразительный наб-

росок, одну голову без мантии, а затем уж и готовое изделие в дурацкой коровьей шкуре.

Пятнадцатая утренняя смена

Ну вот, с господином артистом уже начались неурядицы. Покуда Брауксель и молодой человек изо дня в день усердно пишут - один склоняясь над рабочим дневником Амзеля, другой обращаясь к своей кухне и помышляя о ней, - этот третий уже в начале года исхитрился подхватить легкий грипп. Вынужден временно прерваться, не имеет надлежащего ухода, об эту зимнюю пору, оказывается, всегда был подвержен, еще раз "позволяет разрешить себе" напомнить об обещанном авансе. Распоряжение уже отдано, господин артист. Отправляйтесь в свой карантин, господин артист, надеюсь, он пойдет вашей рукописи на пользу. О деловитая радость оттого, что есть надежное поприще повседневному тщанию - рабочий дневник, куда Амзель красивым и только что разученным зюттерлиновским шрифтом заносил свои расходы по изготовлению птичьих, или, как их еще называют, огородных пугал. Свиной пузырь достался задарма. Драную коровью шкуру Криве сосватал ему за две пачки жевательного табаку.

О красивое и округлое словечко "сальдо": есть цифирки, пузатые и островерхие, которыми Амзель заносил в свой дневник выручку от продажи различных, садовых и огородных, пугал - в частности, вымя с угрями принесло ему полновесный гульден.

Эдуард Амзель вел этот дневник года два, чертил вертикальные и горизонтальные графы, выводил зюттерлиновские буквы кругляшами и с хвостиком, документировал историю создания множества пугал эскизами конструкций и цветовыми пробами, увековечил - задним числом - и почти все пугала, которые к тому времени были проданы, и красными чернилами ставил сам себе оценки за каждое изделие. Позже, уже гимназистом, он куда-то засунул эту мятую, затрепанную общую тетрадку в потрескавшейся коленкоровой обложке и лишь много лет спустя снова нашел ее во время срочных сборов - он покидал город на Висле, торопясь на похороны своей матери, - в сундучке, который служил ему скамеечкой. Среди вещей, унаследованных от отца, среди книг о прусских героях и битвах, под толстенным томом Отто Вайнингера обнаружился рабочий дневник, а в нем добрая дюжина чистых страниц, которую Амзель позднее, уже будучи Зайцингером и Золоторотиком, правда нерегулярно, порой с годовыми паузами, заполнял многочисленными сентенциями.

Сегодня Брауксель, чьи деловые книги ведут в конторе один делопроизводитель и семь служащих, располагает этой трогательной тетрадкой в коленкоровых ошметках. У него, конечно, и в мыслях нет использовать бесценный и ломкий оригинал для освежения памяти! Нет, вместе с договорами, ценными бумагами, лицензиями и важными производственными секретами сей оригинал хранится в сейфе, тогда как фотокопия дневника действительно лежит сейчас прямо перед Браукселем между набитой окурками пепельницей и чашкой полуостывшего утреннего кофе в качестве неизменного подспорья.

Первую страницу тетрадки почти целиком занимает всего одна фраза, скорее нарисованная, нежели написанная: "Пугала, изготовленные и проданные Эдуардом Амзелем".

Под ней, наподобие девиза, значительно мельче и без даты: "Начато на Пасху, потому что ничего нельзя забывать. Криве намедни сказал".

Брауксель, впрочем, считает, что нет особого смысла полностью воспроизводить в данной рукописи своеобразно-терпкую манеру письма восьмилетнего школьника Эдуарда Амзеля; с другой стороны, очарование этого языка, который вскоре, вместе с землячествами беженцев, отомрет и уже как мертвый язык, вроде латыни, будет представлять интерес лишь для науки, вполне допустимо передать в ходе работы над текстом формами прямой речи. Так что лишь когда Амзель, его друг Вальтер, паромщик Криве или бабушка Матерн раскрывают рот - вот тогда Брауксель и будет во всей красе воспроизводить местные обороты. При цитировании же дневника вполне уместно, поскольку, по мнению Браукселя, главную ценность данной тетрадки определяет все же не столько отважное правописание даровитого школьника, сколько запечатленные в ней на самых первых порах целеустремленные пугалотворческие искания, - воспроизводить неповторимую манеру сельского школьника лишь в стилизованном виде, то есть наполовину подлинным, а наполовину литературным слогом, примерно вот так: "Севодни после дойки одним гульденом больше за пугало што одной ногой стоит а другую держит наперикосьяк взял Вильгельм Ледвормер. Дал шлем улана и кусок подстежки когда-то из козы".

Более добросовестно Брауксель пытается дать описание сопутствующего этой записи рисунка: карандашами разных цветов - коричневый, киноварь, лиловый, ярко-зеленый, берлинская лазурь, - цветов, которые, однако, нигде не выступают в чистом виде, а, напротив, смешанной заштриховкой наслаиваются друг на друга, дабы вернее передать ветхость поношенного и драного тряпья, - вышеупомянутое пугало, которое "... одной ногой стоит а другую держит наперикосьяк...", запечатлено целиком, очевидно по памяти, эскизы отсутствуют. Наряду с цветовым решением особенно поражает на редкость смелая, набросанная буквально несколькими штрихами и даже на сегодняшний взгляд вполне современная конструкция основного рисунка. Позиция "... што одной ногой стоит..." намечена контуром слегка наклоненной вперед лестницы с двумя отсутствующими перекладинами; позиции же "...а другую держит наперикосьяк..." может соответствовать лишь та неповторимая поперечина, что под углом в сорок пять градусов выделяет антраша, как бы отламываясь в неудержимом плясовом порыве от середины лестницы куда-то влево, в то время как сама лестница, напротив, слегка крепится вправо. Первым делом, конечно, именно этот контурный рисунок, но и последующая цветовая заштриховка создают в конечном итоге образ лихого танцора, нацепившего на себя былую доблесть и вылинявшие обноски боевого мундира, в котором красовались мушкетеры славного пехотного полка принца Анхальт-Дессау в битве при Лигнице.

Чтобы не ходить вокруг да около - в дневнике Амзеля прямо-таки кишмя кишат пугала в военных мундирах. Вот гренадер третьего гвардейского батальона штурмует лейтенское кладбище; бедняк из Тоггенбурга стоит во фронт в рядах своего итценплицкого полка; беллингский гусар капитулирует при Максене; бело-голубые натцмерские уланы, спешившись, рубятся с шорлемскими драгунами; в голубом, с красной подстежкой мундире, чудом остается в живых стрелок из полка барона де Ламотт Фуке; короче, все, что на протяжении знаменитых семи лет, да и раньше бушевало на пространствах между Богемией, Саксонией, Силезией и Померанией, унося ноги под Молльвицем, потеряв кисет под Хенненсдорфом, присягнув под Пирной Фрицу, переметнувшись к неприятелю под Колином, а при Росбахе снискав внезапную славу, - все это оживало под руками Амзеля, разгоняя, однако, отнюдь не лоскутное имперское воинство, а всего лишь птиц в дельте Вислы. И если

Зайдлицу пришлось гнать Хильдбургхаузена - "... *voilà au moins mon martyre est fini...*" - через Веймар, Эрфурт, Зальфельд аж до самого Майна, то крестьянам Ликфетту и Момзену, Байстеру, Фольхерту и Карвайзе за глаза хватало и того, что запечатленные в рабочей тетради пугала Амзеля в мгновение ока разгоняли пернатое население дельты Вислы с тучных полей эпской безостой пшеницы, вытесняя его на каштаны и ивы, ольху, тополя и гордые прибрежные сосны.

Шестнадцатая утренняя смена

Он благодарит. Звонит по междугородному, разумеется за счет собеседника, семь минут, никак не меньше: деньги пришли, ему снова лучше, грипп миновал свой кризисный апогей и теперь отступает, завтра, самое позднее послезавтра он снова сядет за машинку; как уже говорилось, он, к сожалению, вынужден сразу писать на машинке, поскольку совершенно не в состоянии, увы, разбирать свои собственные каракули, зато во время болезни его осенило несколько прекрасных мыслей...

Будто он сам и вправду не знает цену подобным горячечным озарениям. Господин артист не видит большого проку от ведения приходно-расходной бухгалтерии, хотя Брауксель посредством многолетних подсчетов неутешительных балансов уже не раз подводил его к неутешительному сальдо.

Как знать, возможно, смысленный Эдуард Амзель перенял основы ведения книг не только из бортового журнала Криве, но и от своей матушки, которая в вечерние часы, вздыхая, склонялась над своими бухгалтерскими фолиантами, - не исключено, что он даже помогал ей в записях, подшивке документов, в проверке подсчетов.

Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, несмотря на все трудности послевоенных лет, исхитрилась держать фирму "А.Амзель" на плаву и даже смогла, на что сам Амзель, мир его праху, в военные годы никогда бы не отважился, перестроить и расширить дело. Она начала торговать рыбацкими куттерами, не только новенькими, прямо с верфи Клавитер, но и подержанными, которые полностью перебирались на Соломенной дамбе, а еще подвесными моторами. Она продавала куттеры или, что было еще выгодней, сдавала их в аренду молодым рыбакам, которые только что обженились.

И хотя к маме Эдуард относился с достаточным пиететом и никогда, даже ненароком, не воспроизводил ее в виде пугала, с тем большей беззастенчивостью он принялся - примерно с восьмого года жизни - копировать финансово-экономическую политику своей матушки. Если она сдавала в аренду рыбацкие куттеры, то он начал давать напрокат свои особенно прочные, специально для прокатных целей изготовленные пугала. Многие и многие страницы его рабочего дневника скрупулезно документируют, сколько раз и кому выдавались пугала напрокат. Отдельным столбиком, все больше смахивающим на каланчу, Брауксель подсчитывает, сколько Амзель заработал на прокате птичьего страха - получается очень даже приличная сумма! Из прокатных пугал здесь будет рассмотрено лишь одно, которое хотя и не принесло высоких сборов, однако существенно повлияло на дальнейший ход событий нашего повествования, а тем самым, значит, и на всю эволюцию птицеустрашающего искусства.

Итак, вскоре после уже упомянутого ивового похода к ручью, после того как Амзель создал и продал пугало на тему "Угри, сосущие молоко", возникло еще одно произведение, отчасти обязанное своим обликом, с одной

стороны, трехглавой иве, с другой же - восставшей из немощи, размахивающей поварешкой и скрежещущей зубами бабке Матерн, и работа эта тоже нашла отражение в дневнике Амзеля; однако рядом с эскизом конструкции здесь имеется надпись, безусловно обособливающая данный художественный продукт ото всех прочих: "Придется сиводни уничтожить потому как Криве говорит ничего кроме беды не будет".

Макс Фольхерт, который вообще-то всю семейку Матернов недолюбливал, взял у Амзеля упомянутое пугало и установил прямо у забора в своем саду, который выходил на Штутхофское шоссе аккурат напротив матерновского огорода. Вскоре выяснилось, что прокатное пугало наводит ужас не только на птиц - при его виде лошади взбрыкивали и, высекая копытами искры, пускались в галоп. Мирно бредущее по домам коровье стадо кидалось врассыпную, едва размахивающая поварешкой ива бросала на них свою грозную тень. Ко всей этой пуганой скотине вскоре присоединилась и бедная, вечно встрепанная Лорхен, которую и так день-деньской гоняла бабка с поварешкой, причем самая что ни на есть доподлинная. Теперь же, узрев еще одну бабку, о трех головах и почему-то в обличье ивы, бедняжка, форменным образом зажатая этими бабками в тиски, совсем обезумела от страха и бродила теперь, простоволосая, шальная, по полям и прибрежной роще, по дюнам и дамбам, по дому и саду, а однажды чуть было не угодила на плетеное крыло вертящейся мельницы, если бы родной брат, мельник Матерн, вовремя не успел оттащить ее, ухватив за передник. По совету Криве и к явному неудовольствию старика Фольхерта, который позднее без всяких церемоний потребовал часть уплаченных денег назад, Вальтер Матерн и Эдуард Амзель за одну ночь разобрали злополучное пугало. Так

у природы с достаточным усердием, имеют власть не только над птицами в небе, но и способны влиять и на коров, и на лошадей, а также и на бедную Лорхен, то бишь и на людей, сбивая их всех с привычного для сельских мест неторопливо-размеренного шага. В жертву этому знанию Амзель принес одно из самых впечатляющих своих пугал и никогда больше не использовал ивы в качестве моделей, что не мешало ему время от времени, особенно при низком тумане, прятаться в дупле старой ивы, а пластунский марш угрей к залегшим в траве коровам вспоминать как событие в высшей степени замечательное. Впредь он предусмотрительно избегал срачивать человека и дерево, а использовал, подвергая себя добровольному самоограничению, в качестве моделей неотесанные и бесхитростные, но вполне пригодные как прообраз пугала фигуры местных крестьян. Этот сельский люд, переодетый в мундиры прусских королевских гусар, стрелков, ефрейтор-капралов, штандарт-юнкеров и старших офицеров, поистине преображался, возносясь над садами и огородами, пшеничными нивами и полями ржи. Со спокойной совестью Амзель усовершенствовал свою систему проката и даже предпринял - впрочем, без роковых последствий - уголовно наказуемый подкуп должностного лица, склонив красиво упакованными подарками кондуктора местной прибрежной узкоколейки к бесплатной транспортировке его, Амзеля, пугал, или, фигурально выражаясь, к транспортировке ожившей и наконец-то не совсем бесполезной прусской истории.

Семнадцатая утренняя смена

Артист протестует. Отступающий недуг не помешал ему самым пристальным образом изучить рабочие планы Браукселя, которые тот рассылает своим со-

авторам. Его никак не устраивает, что уже в этой утренней смене будет воздвигнут памятник мельнику Матерну. Он считает, что это право неотъемлемо принадлежит ему. Поэтому Брауксель, радуя о сохранении и сплоченности авторского коллектива, добровольно отказываясь от создания всеобъемлющего полотна, тем не менее настаивает на своем праве запечатлеть здесь ту часть образа мельника, которая уже бросила свой отсвет на страницы рабочего дневника Амзеля.

Дело в том, что, хотя восьмилетний мальчуган и рыскал с особым тщанием по прусским полям боевой славы в поисках бесхозных мундиров, одна модель - а именно вышеназванный мельник - была позаимствована им прямо из жизни, без всяких прусских примесей, зато с мешком муки на плече.

В результате возникло кривое пугало, ибо мельник был, что называется, кривой, как черт. Поскольку на правом плече он всю жизнь протаскал мешки с зерном и мукой, плечо это было теперь чуть ли не на ладонь шире левого, так что всякий, кто смотрел на мельника спереди, испытывал необоримый соблазн немедленно схватить эту голову обеими руками и посадить, как кочан капусты, куда следует. Поскольку ни рабочую, ни выходную одежду он на заказ не шил, любой сюртук и пиджак, любое пальто и вообще все, что он надевал на плечи, казалось сшитым вкривь и вкось, сбивалось на шее складками, а правый рукав был короток и неизменно полз по всем швам. Правый глаз постоянно подмигивал в хитроватом прищуре. На той же правой стороне лица, даже когда на плечо не давил шестипудовый мешок, угол рта почему-то ехал вверх. Нос вело туда же. Вдобавок ко всему - а ради этого, собственно, и пишется весь портрет - его правое ухо, все расплющенное и раздавленное тысячами мешков, перетасканных за многие десятилетия трудов праведных, пласталось по голове наподобие олады, тогда как левое, отчасти по контрасту, отчасти же по прихоти матушки-природы, лопухом торчало в сторону. Собственно говоря, если смотреть на мельника спереди, то казалось, что у него вообще только одно ухо и есть, а между тем именно это, второе, как бы отсутствующее, а вернее сказать, лишь слабо угадывающееся ухо и было самым главным.

Он тоже, хотя и не настолько, как бедная Лорхен, был, что называется, не от мира сего. В деревнях вокруг поговаривали, что бабка Матерн, должно быть, в детстве слишком усердно прикладывала к его воспитанию поварешку. От средневекового разбойника и поджигателя Матерны, того самого, что вместе с дружкой доживал свой век в темнице, потомкам передалось все самое худшее. Меннониты, что грубые, что тонкие, только перемигивались, а грубый меннонит-бескарманник Симон Байстер вообще уверял всех, что, дескать, католическая вера не идет всей семейке Матернов впрок, особенно мальцу, он только и знает, что с этим увальнем Амзелем, который с того берега, по всей округе шастать да зубами скрипеть: да одна псина их чего стоит - она же чернее преисподней. При этом надобно заметить, что по натуре мельник Матерн был человеком скорее мягким, врагов в окрестных деревнях у него, как и у бедной Лорхен, почти не было, зато насмешников - хоть отбавляй.

Итак, ухо мельника - а впредь, когда речь пойдет об ухе мельника, будет иметься в виду только правое, расплющенной оладьей прилегающее, раздавленное мешками, - так вот, ухо мельника достойно упоминания вдвойне: во-первых, потому что Амзель в своем пугале, которое отражено в рабочем дневнике в эскизном виде, это ухо с истинно творческой отвагой вообще отбросил; во-вторых, потому что это ухо, оставаясь совершенно глухим ко всем обычным мирским звукам, как-то кашлю-говору-проповеди, церковному

пению, звону коровьих колокольных, выковке подков, всякому лаю собачьему, пенью птичьему, треньканью сверчковому, - слышало, причем отчетливо, до малейшего шепотка, шушуканья и полуслова, все, что творилось и переговаривалось в мешке с зерном или же с мукой. Зерно голое или мякинное, какое на побережье и не выращивали почти, отмолоченное на грубой или тонкой молотилке; пшеница твердая или мягкая, полбенная двузернянка или эммер, хрупкая, стекловидная, полустекловидная или мучнистая - ухо мельника, глухое ко всем другим звукам, прослушивало каждый мешок, точно устанавливая процент зерна порченого, прогорклого, а то и вовсе без ростков. Он сорт угадывал на слух, не раскрывая мешка: светло-желтую франкенштайнскую, пеструю кувявскую, розоватую пробштайнскую и рыжую цветочную, которая особенно хороша на глинистых почвах, английскую колосистую и еще два сорта, которые на побережье только начинали пробовать: сибирскую зимнестойкую и шлипхакенскую белую, сорт номер пять.

Еще больший дар яснослышанья ухо мельника, глухое ко всем прочим звукам, обнаруживало в отношении муки. Если, прильнув - не как очевидец, а как ухослышлец - к мешку с зерном, он дознавался, много ли в нем живет долгоносиков, включая куколки и личинки, много ли жуков-наездников и жуков-узкотелов, то, приложив свое ухо к мешку с мукой, он мог с точностью до единицы сказать, сколько в данных шести пудах пшеничной муки обитает мучных червей - *tenebrio molitor*. При этом - что и вправду поразительно - он благодаря своему плоскостопному уху, иногда сразу, а иногда после нескольких минут яснослышанья, был осведомлен даже о том, скольких дохлых мучных червей в данном мешке оплакивают их живые сородичи, ибо, как не без лукавства уверял он, прищурив правый глаз, кривя направо рот и ведя в ту же сторону носом, по шуму от живых червей всегда можно узнать о численности погибших собратьев.

Жители Вавилонии, как утверждал Геродот, засевали пшеницу зернами величиной с горошину; можно ли, спрашивается, положиться на сведения Геродота?

Мельник Антон Матерн особым способом досконально оценивал качество и состояние зерна и муки; можно ли, спрашивается, верить мельнику Матерну?

И вот в корчме у Люрмана, что между усадьбой Фольхерта и его же, Люрмана, сыроварней, устраивается спор. Корчма для этой цели отлично годилась и даже имела наглядные свидетельства славного прошлого по этой части. Во-первых, здесь можно было своими глазами узреть дюймовый, а по некоторым уверениям даже двухдюймовый гвоздь, по самую шляпку утопленный в массивную деревянную стойку, куда его много лет назад и тоже на спор с одного удара голым кулаком загнал Эрих Блок, плотницких дел мастер из Тигенхофа; во-вторых, белый потолок корчмы хранил на себе доказательства и другого рода - следы от сапог, числом не меньше дюжины, наводившие на мысль о кознях нечистой силы, благодаря которым кто-то разгуливал по потолку головой вниз. На самом же деле сила была, с определенными, конечно, оговорками, достаточно чистой и принадлежала Герману Карвайзе, который, когда некий агент-представитель страховой противопожарной компании усомнился в мощи его мускулов, попросту схватил вышеозначенного агента и, перевернув вверх тормашками, стал подбрасывать к потолку, всякий раз заботливо подхватывая у самого пола, чтобы человек не расшибся, а главное, мог потом подтвердить, каким образом доказательства доблестной пробы сил, то есть отпечатки его представительских сапог, запечатлелись на потолке трактира.

Когда испытывали Антона Матерна, тоже не обошлось без силы, но не те-

лесной - вид у мельника был, пожалуй, тщедушный, - а скорее призрачной и таинственной. Дверь и окна закрыты. Лето осталось на улице. О времени года громко и на разные голоса напоминают только липучки-мухоловки. В стойке дюймовый гвоздь по самую шляпку, отпечатки сапог на сером, когда-то свежесырошенном потолке. Фотографии и призы, обычные реликвии стрелковых праздников. На полке лишь несколько бутылей зеленого стекла с огнедышащим содержимым внутри. Запахи махорки, сапожной ваксы и молочной сыворотки спорят друг с другом, но едва ощутимый перевес остается за сивушным духом, который набирает силу еще с субботнего вечера. В корчме болтают-пьют-спорят. Карвайзе, Момбер и молодой Фольхерт ставят бочонок крепкого нойтайхского пива. Тишком сгорбившись над шкаликом курфюрстской водки, которую обычно здесь никто, кроме городских, не пьет, мельник Матерн со своей стороны выставляет такой же бочонок. Люрман, за стойкой уже принес десятикилограммовый мешочек муки и держит наготове для окончательной третьей проверки мучное сито. Сперва мешочек просто так, ознакомления ради, покоится на ладонях у кривого-кособокого мельника, а уж потом к нему, как к подушке, прикидается плоское мельничье ухо. И тотчас - поскольку в этот миг никто не жует, не мелет деревенской трактирной околесины, даже почти не дышит сивушным перегаром - явственной раздается пение липучек-мухоловок. Что все арии умирающих лебедей-лоэнгринов во всех театрах мира супротив предсмертного хора разноцветных мух в сельской местности!

Люрман уже подsunул мельнику под свободную руку свою аспидную дощечку с грифелем на веревочке. На ней уже размечены - инвентаризация дело нешуточное - соответствующие графы: 1. Личинки; 2. Куколки; 3. Черви. Мельник пока что все еще слушает. Мухи жужжат. Ароматы сыворотки и ваксы набирают силу, поскольку сивушное дыхание все затаили. Но вот несподручная левая рука - правой мельник чуть приобнял мешочек - поползла по стойке к дощечке: в графе "Личинки" грифель с натужным скрипом выводит скошенную цифру семнадцать. Потом, с повизгиванием, - двадцать две куколки. Но их тут же стирает губка, и по мере просыхания мокрого пятна становится все отчетливее видно, что куколок всего девятнадцать. И, наконец, живых червей в мешке обретается восемь особей. А в довесок, поскольку условия пари этого не требуют, грифель в пальцах мельника торжественно возвещает на доске: "Мертвых червей в мешке пять штук". Вот теперь наконец сивушный дух берет свое, разом перебивая ваксу и сыворотку. И предсмертную песню мух тоже кто-то поубавил. Теперь настал черед Люрмана с его мучным ситом.

Короче, чтобы долго не томить: один к одному сошлось предуказанное число жестких пергаментных личинок, мягких, лишь на кончиках роговистых куколок и взрослых личинок, называемых в народе мучными червями. Недоставало лишь одного дохлого червя из предполагаемых пяти: по всей видимости - даже наверняка! - он, высохший и распавшийся на фрагменты, сумел ускользнуть через ячейки сита.

Так мельник Антон Матерн выиграл свой бочонок нойтайхского крепкого пива, а в утешение и в награду всем присутствующим, особенно же Карвайзе, Момберу и молодому Фольхерту, которым пришлось на этот бочонок раскошелиться, он подарил то ли предсказание, то ли напутствие. Водружая бочонок аккуратно на то самое место, где только что лежал испытываемый мешочек муки, он как бы между прочим, словно припоминая какие-то байки, заметил: он, плоскоухий мельник, покуда на этих двадцати фунтах муки своим плоским ухом кемарил, ясно услышал, что полагают некоторые черви - он,

правда, не знает, сколько в точности, потому как все они галдели наперебой, - относительно видов на урожай. Эппскую пшеницу, как считают черви, надо сжать за неделю до Семи братьев, а куявскую и шлипхакенскую, сорт номер пять, после Семи братьев на третий день.

С тех пор, за много лет до того, как Амзель изготовил пугало яснослышащего мельника, всех Матернов неизменно встречали в округе то ли приветом, то ли присказкой:

- Здравствуй, дорогуша, ну что там сказали старику Матерну его мучные черви?

Шутки шутками, однако многие приходили и упрашивали мельника разузнать у туго набитого мешочка, когда сеять озимую, а когда яровую пшеницу, когда - а мешочек довольно точно знал и это - начинать жать, когда свозить. Задолго до того, как он предстал в виде пугала и был запечатлен эскизом конструкции на страницах рабочего дневника Амзеля, мельник изрекал и другие, куда более мрачные предсказания, которые и по сей день, когда господин артист надумал у себя в Дюссельдорфе воздвигать мельнику памятник, подтверждаются отнюдь не в шутку, а самым недвусмысленным образом.

Ибо он сумел разглядеть в ближайшем будущем не только угрозу подступающей спорыньи; не только градобой, не записанный ни в одной страховке, - он с точностью до дня предсказал обвалы курса на Берлинской и Будапештской зерновых биржах, крах банков в тридцатом, смерть Гинденбурга, девальвацию данцигского гульдена в мае тридцать пятого; и о дне, когда заговорят пушки, мучные черви тоже, конечно, нашептали ему заранее.

Разумеется, благодаря своему удивительному уху он знал и о собаке Сенте, которая родит Харраса, гораздо больше, чем можно было догадаться по внешнему виду этой псины, черным пятном застывшей возле белого мельника.

И после большой войны, когда мельник со своим беженским удостоверением, разряд "А", ютился где-то между Крефельдом и Дюреном, он все еще мог по своему заветному мешочку, который пережил с ним все военные невзгоды и мытарства, предсказывать, как в будущем... Но об этом, по уговору между членами авторского коллектива, Брауксель не имеет права рассказывать, ибо об этом поведает господин артист.

Восемнадцатая утренняя смена

Вороны на снегу - какой мотив! Снег укрыл толстыми шапками заржавелые махины скреперов и воротов - свидетелей славных времен соледобычи. Брауксель распорядился снег растопить, потому как мыслимое ли это дело: вороны на снегу, которые, если смотреть на них долго и пристально, превращаются в монахинь на снегу, нет уж, снег долой! Ночной смене, прежде чем она начнет проталкиваться в проходную, придется часок потрудиться сверхурочно - а если вдруг станут артачиться, Брауксель прикажет поднять со дна семисотдевяностометровой шахты новые, недавно приобретенные и испытанные модели - комбайны Перкунас, Пеколс, Потримпс, - дабы проверить их эффективность на снежных сугробах: вот тогда и поглядим, каково придется воронам-монахиням, тогда можно и не растапливать снег. Пусть лежит, ничем не запятнанный, под окном у Браукселя и в меру сил поддается описанию. Висла пусть течет, мельница мелет, поезд по узкоколейке спешит, масло тает, молоко киснет - немного сахару сверху, и ложка стоит, - а

паром пусть приближается, а солнце заходит, а утром всходит, прибрежный песок пусть отступает, а волны прибоя пусть его лижут... И дети бегают босиком и ищут янтарь, а находят синие черничины, выкапывают из норок мышей, босиком прямо по колючкам, босиком на дуплистые ивы... Но кто ищет янтарь, бегают босиком по колючкам, прячется в дуплистые ивы, выкапывает из норок мышей, тот в один прекрасный день найдет в дамбе мертвую девочку, совсем-совсем засохшую - да это же Тулла, дочурка герцога Святополка, та самая Тулла, что раскапывала песок, ловила мышей и прикусывала их своими острыми резцами, Тулла, которая никогда не носила ни башмаков, ни чулок, - а дети бегают босиком, ивы колышут ветками, Висла по-прежнему течет, солнце всходит и заходит, а паром плывет, уплывает или скрежещет бортом о причал, а молоко киснет, покуда ложка в нем не встанет торчком, и медленно поспешает, хотя и всюду пытит почти игрушечный поезд на повороте узкоколейки... И мельница тоже покряхтывает, когда ветер восемь метров в секунду. И мельник слушает, что нашепчет ему мучной червяк. И зубы скрежещут, когда Вальтер Матерн ими слева направо. И бабка точно так же, вон она гоняет по огороду бедную Лорхен. Сента, черная и уже беременная, ломится через заросли бобов. Ибо ужасное видение приближается, уже воздета в роковом изломе десница, уже зажата в кулаке и грозно вздымается в небо деревянная поварешка, она уже отбрасывает свою черную тень на лохматую Лорхен, и тень все больше, все жирней, вот она совсем рядом, совсем большая... Но и Эдуард Амзель, который всю глазеет по сторонам и ничего не забывает, потому что за него отныне все помнит его дневник, тоже требует теперь за свою работу несколько больше, чем прежде, - гульден двадцать за одно-единственное пугало.

Тут вот в чем дело. С тех пор как господин Ольшевский, учитель начальной школы, стал рассказывать детям про всяких богов, которые раньше были, которые и сейчас еще, оказывается, есть и еще с незапамятных времен существовали, - с тех пор Амзель всецело отдался мифологии.

А началось все с того, что овчарка одного самогонщика из Штутхофа по узкоколейке была доставлена вместе со своим хозяином в Никельсвальде. Кобеля звали Плутон, у него была безупречная родословная и почетная задача покрыть Сенту, что и воспоследовало. Ученик начальной школы Амзель поинтересовался, откуда пошло имя Плутон и что оно, в сущности, означает. Господин Ольшевский, молодой, тяготеющий к педагогическому реформаторству сельский учитель, охотно черпавший вдохновение в вопросах своих питомцев, с тех пор все чаще стал заполнять занятия по своему предмету, что фигурировал в расписании под названием "Родная речь и родной край", цветистыми и весьма многословными историями о чудесных деяниях и подвигах сперва Вотана, Бальдура, Фафнира и Фрейи, а потом уж Зевса, Юноны, Плутона, Аполлона, Меркурия и даже египетской богини Изиды. И уж совсем он впадал в раж, когда добирался до древних прусских богов Перкунаса, Пеколса и Потримпса и начинал рассказывать, как они обитали в пышных и раскидистых кронах вековых дубов-исполинов.

Разумеется, Амзель все это не просто мотал на ус, но и, как явствует из его дневника, творчески и с большим мастерством перерабатывал. Так, огненно-рыжего Перкунаса он украсил старыми наперницами, предусмотрительно раздобытыми в домах, где побывала смерть. Растресканный дубовый чурбан, на который Амзель со всех сторон понабил стоптанных лошадиных подков, в расщелины которого понатыкал цветастых перьев из петушиных хвостов, - это была голова Перкунаса. Пугало во всем своем великолепии - ни дать ни взять огненный бог! - недолго красовалось на дамбе для всеоб-

щего обозрения: не прошло и дня, как оно было продано за гульден двадцать и перекочевало в равнинный Ладекопп, подальше от побережья.

Бледный Пеколс, о котором сказано, что он вечно смотрит исподлобья, и который поэтому в языческие времена ведал делами смерти, был изготовлен отнюдь не из постельных принадлежностей старых, не слишком старых и даже вовсе не старых мертвецов - такая отдающая саваном костюмировка была бы решением слишком очевидным и напрашивающимся, - нет, для этой цели было выбрано брошенное при переезде - вот он, дар благосклонной к художнику судьбы, - пожелтевшее, ветхое, пропахшее лавандой и плесенью, мускусом и мышами свадебное платье. В этом подвенечном наряде, лишь слегка переделанном на мужской манер, Пеколс был просто неотразим, так что пугало божества в облике невесты-смерти не замедлило перебраться в Шустеркруг, в тамошнее садоводческое хозяйство, принеся автору выручку аж в два гульдена.

Зато Потримпс, вечно смеющийся отрок с пшеничными колосьями в зубах, одно из самых вдохновенных творений Амзеля, чарующее своим игривым и многоцветным изяществом, ушло всего за один гульден, хотя, как известно, Потримпс оберегает посевы, что озимые, что яровые, от всех напастей - от посевного куколя и свербигузки, полевой редьки и пырея, вики, торицы и ядовитой спорыньи. Больше недели это юношески стройное пугало, ажурный торс которого, выполненный из посеребренных станиолью ветвей орешника, украшал еще и передник из кошачьих шкурок, простояло на дамбе, зазывно шурша шафрановым ожерельем из крашенных яичных скорлупок, прежде чем его приобрел крестьянин из Фишер-Бабке. Его беременная и потому особенно приверженная мифологии половина посчитала пугало плодородного божества "прехорошеньким" и "ужасть как уморительным"; несколько недель спустя она разрешилась двойней.

Но и Сенте тоже перепало от милостей отрока Потримпса: ровнехонько через шестьдесят четыре дня она принесла шестерых кутят, покуда еще слепых, но, в строгом соответствии с родословной, густого черного окраса. Все шестеро были зарегистрированы и постепенно проданы, среди них и кобель Харрас, о котором в следующей книге еще не раз пойдет речь, ибо господин Либенау купил Харраса, дабы тот сторожил его столярную мастерскую. По объявлению, которое мельник Матерн поместил в местной газете "Последние новости", столяр приехал в Никельсвальде по узкоколейке, стороны быстро сторговались и ударили по рукам.

А в самом начале, где-то в темном первоистоке, была волчица из литовских чащоб, чей внук, черный кобель Перкун, зачал суку Сенту, а Сенту покрыл Плутон, и Сента оценилась шестью кутятами, среди которых был и Харрас; а Харрас зачал Принца, а Принц будет героем другой истории - в книгах, которые Браукселью писать не надо.

Но никогда, ни разу в жизни не создавал Амзель птичье пугало по образу и подобию собаки, даже по образу и подобию Сенты, что так преданно носилась между ним и Вальтером Матерном. Все пугала, запечатленные в его дневнике, все, за исключением одного, присосавшихся к вымени угрей, и еще одного - полубабки-полуивы о трех головах - сотворены с оглядкой на людей и богов.

Параллельно школьным занятиям, облакая в наглядные образы учебный материал, который учитель Ольшевский, преодолевая жужжание мух и изнуряющий летний зной, рассеивал над головами своих задремывающих питомцев, одно за другим возникают птицеустрашающие творения, запечатлевшие наряду с богами также и галерею магистров славных немецких рыцарских орденов -

от Германа Бальке и Конрада фон Валленрода вплоть до Юнгингена: вот уж где вдоволь погромыхало заржавелое кровельное железо, в прорезях которого, в обрамлении бочковых заклепок, гордо мерцали на белой промасленной бумаге черные рыцарские кресты. Тут уж, уступая доблестям Книпроде, Летцау и фон Плауэна, волей-неволей пришлось потесниться не одному Ягайло, но и великому Казимиру, не говоря о столь сомнительных личностях, как разбойник Бобровский, Бенеке, Мартин Бардевик и бедолага Лещинский. А Амзель просто не мог насытиться преданиями прусско-бранденбургской старины: он лудил ее целыми столетиями - от Альбрехта Ахилла до Цитена, выжимая из плодородного компоста восточно-европейской истории свои пугала и наводя ими ужас на птиц в восточно-европейском небе.

Примерно в ту же пору, когда отец Харри Либенау, столярных дел мастер, купил у мельника Антона Матерна щенка Харраса, а мир еще не знал ни самого Харри Либенау, ни его кузину Туллу, всякий, кто умеет читать, мог прочесть под рубрикой "Родимый край" в одном из номеров "Последних новостей" статью, которая весьма пространно, вдохновенно и поэтично воспевала красоты восточно-прусского побережья. Страна и люди, особенности строения аистиних гнезд и архитектуры крестьянских усадеб, в частности косяков и карнизов над крыльцом, - все это описано с большим знанием дела. А в центральной части статьи, с которой Брауксель на всякий случай даже заказал себе фотокопию, говорилось и все еще говорится примерно вот что: "И хотя в общем и целом на нашем побережье все идет своим привычным чередом, а всепобеждающая техника еще не вошла сюда своим триумфальным маршем, в одной, пусть и побочной области можно наблюдать поистине разительные перемены. Птичьи пугала на привольных и холмистых пшеничных полях нашего благодатного края, еще несколько лет тому назад банально целесообразные, пусть чуточку чудные и грустные, но в целом, безусловно, еще вполне схожие с пугалами других земель и провинций, - теперь обнаруживают в полях между Айнлаге, Юнгфером и Ладекоппом, но и вверх по Висле вплоть до Кэземарка и Монтау, а в отдельных случаях даже южнее Нойтайха совершенно новую и разнообразную физиогномику. Буйная фантазия перемешалась здесь с древними народными поверьями: потешные, но и жутковатые фигуры возвышаются среди колышущихся на ветру нив, среди тучного изобилия садов. Не пора ли уже сейчас местным краеведческим и историческим музеям обратить внимание на эти сокровища пусть наивного, но столь искусного по форме народного творчества? Подумать только, ведь это в наши дни посреди плоской обезлички современной цивилизации снова, а быть может, и по-новому расцветает нордическое наследие, нарождается восточно-прусский симбиоз гордого духа викингов и христианского благочестия! Особенно поражает тройственная группа в привольно колосащемся поле между Шарпау и Бэрвельде - своей пронзительной простотой она напоминает тройное распятие Господа нашего и двух разбойников на Голгофе и в своей наивной набожности буквально хватает за душу путника, что держит путь по нашим бескрайним волнистым нивам, пригвождая его к месту - а он и сам не знает почему".

Только пусть никто не подумает, будто Амзель сотворил эту группу - в дневнике остался запечатленным только один разбойник - исключительно в порыве детского благочестия и совершенно бескорыстно: согласно тому же дневнику, она принесла автору два гульдена двадцать.

А куда девались те деньги, которые крестьяне округа Большой Вердер - с легким ли сердцем или сперва изрядно поторговавшись - выкладывали на плоскую мальчишечью ладошку? Эти растущие богатства хранились в кожаном

мешочке под присмотром Вальтера Матерна. Он хранил их бдительно, угрюмо поглядывая исподлобья, и не без скрежета зубовного. Обвязав тесемку вокруг запястья, он повсюду носил с собой этот мешочек, полный звонких монет Вольного города Данцига: под тополями вдоль шоссе и по ветродуйным просекам прибрежного леса, переправлялся с ним на пароме, крутил им в воздухе, бил им об забор, а также - с особым вызовом - о собственное колено и обстоятельно, не торопясь, развязывал, когда крестьянин превращался в клиента.

Так что кассу держал не Амзель. Вальтеру Матерну полагалось, покуда Амзель изображал напускное безразличие, назначать цену, ударять по рукам на манер барышников, скрепляя сделку рукопожатием, и загребать выручку. Кроме того, Вальтер Матерн отвечал за транспортировку проданных, равно как и выданных напрокат, пугал. Так он попал в кабалу. Амзель сделал его своим батраком. В коротких приступах гнева он бунтовал, силясь освободиться. История с перочинным ножом и была, в сущности, попыткой такого бессильного бунта; ибо Амзель, с виду столь неповоротливый увалень, катившийся колом по жизни на своих толстых коротеньких ножках, неизменно умудрялся быть на шаг впереди. Так что когда оба шли по дамбе, сын мельника наподобие настоящего батрака всегда плелся на полшага позади неутомимого изобретателя и создателя все новых и новых птичьих пугал. Ему, как батраку, полагалось, кроме того, таскать за своим господином все материалы: жердины, палки, мокрое тряпье и вообще все, что вздумает принести в своих мутных водах Висла.

Девятнадцатая утренняя смена

"Холуй! Холуй!" - кричали другие дети при виде Вальтера Матерна, который, как батрак, следовал за своим другом Эдуардом Амзелем. Кто сквернословит и богохульствует, того, как известно, ждет суровая кара; но кто станет всерьез спрашивать с деревенских мальчишек, этих сорвиголов, что поминают черта чуть ли не на каждом слове? А уж эти двое - Брауксель имеет в виду сына мельника и толстяка-увальня с того берега - были вообще не разлей вода, срослись, словно сам Господь Бог и дьявол, так что им эти подначки сельского юношества были все равно как бальзам. Кроме того, они ведь оба, тоже как Бог и дьявол, скрепили свое кровное братство одним ножом.

Вот так, душа в душу - ибо добровольное батрачество тоже было любовным проявлением дружбы, - друзья нередко сиживали в верхней горенке, странности освещения которой зависели, как помним, от взаимодействия солнечных лучей и крыльев матерновской ветряной мельницы. Сиживали рядом, на маленьких скамеечках в ногах у бабки Матерн. За окном день клонится к вечеру. Древесные червяки безмолвствуют. Тени от крыльев мельницы падают не в горенку, а уже во двор. Курятник на малой громкости, потому что окно закрыто. Только муха на липучке все тянет и тянет свою сладкоголосую прощальную арию. А внизу, так сказать в партере, сварливым голосом, словно бы заведомо недовольная любым слушателем, старуха Матерн рассказывает свои байки-небыльщицы. Размахивая костлявыми морщинистыми руками и широко разводя их в стороны всякий раз, когда требуется обозначить любые встречающиеся в истории размеры, старуха Матерн рассказывает байки о наводнениях, байки о заколдованных коровах, в том числе и о со-сущих молоко угрях и всякую прочую всячину: одноглазый кузнец, лошадь о

трех ногах, дочка князя Кестутиса, что выходила ночами мышковать, и историю о гигантской морской свинье, которую выбросило на берег приливом неподалеку от Бонзака, как раз в тот год, когда Наполеон вздумал на Россию войной идти.

Но всякий раз - сколь бы длинными оселками она ни петляла - в конце концов, попадаясь на крючки ловких наводящих вопросов Амзеля, она вступала в гулкие ходы темного подземелья нескончаемой, потому что она не окончена и по сегодня, истории о двенадцати обезглавленных монашках и о двенадцати обезглавленных рыцарях, каждый со своим шлемом под мышкой, которые в четырех экипажах, две упряжки белых, две вороных, проезжали через Тигенхоф по громыхающей мостовой, останавливались на заброшенном постоялом дворе и там, сойдя, выстраивались парами - и сразу же ударяла музыка. Трубы, цитры, барабаны - во всю мощь. И к этому еще вдобавок цоканье языком и гнусавое пение. Скверные песни, похабный припев - мужскими голосами, это рыцари поют, прихвативши головы в шлемах под мышку, а затем вдруг, тонко так, жалостливо, благочестивый женский хор, будто в церкви. А потом снова безголовые монахини, головы они держат перед собой, и головы эти на разные голоса поют сами, а песни блудливые, непристойные, а пляски под них все с притопом да с прихлопом, с визгом да с кружением до одури. И тут же, снова выстроившись в благочестивую процессию, две дюжины безголовых фигур в освещенных окнах гостиницы отбрасывают на мостовую свои смиренные тени, покуда снова не загрохочут барабаны, не взвоют трубы, не взвизгнут смычки и весь дом не затрясется от пола до самой крыши. Наконец под утро, перед петухами, к воротам сами, без кучеров, подъезжают четыре экипажа, две упряжки белых, две вороных. И двенадцать рыцарей, дребезжа железом и осыпаясь ржой, покидают постоялый двор в Тигенхофе, и на плечах у них дамские вуали, сквозь которые мертвенно-бледными ангельскими чертами мерцают профили монахинь. И двенадцать монахинь, в рыцарских шлемах с опущенным забралом поверх орденского платья, тоже покидают постоялый двор. Они садятся в четыре экипажа, упряжка белая, упряжка вороная, садятся по шестеро, но не попеременно - зачем, когда головами они уже и так обменялись? - и уезжают из притихшего городка, однако мостовая под ними снова грохочет.

- Еще и сейчас, - так говаривала старуха Матерн, прежде чем направить зловещие кареты в другие места, где те и по сей день останавливаются перед часовнями и замками, - еще и сейчас в заброшенном трактире, где никто жить не хочет, по ночам из камина раздается благочестивое пение попеременно с богохульными молитвами на восемь кошачьих голосов.

Выслушав все это, оба закадычных друга больше всего на свете хотели сразу же отправиться в Тигенхоф. Но сколько ни пытались они осуществить эту затею, им удавалось добраться только до Штегена, в крайнем случае - до Ладекоппа. Зато следующей зимой, которая, разумеется, для строителя птичьих пугал и должна быть самым творческим временем года, Эдуард Амзель все же нашел возможность побывать на заколдованном месте и снять с безголовых привидений все нужные мерки: так он создал свои первые механические пугала, хотя на это и ушла изрядная доля его состояния из заветного денежного мешочка.

Двадцатая утренняя смена

Эта оттепель продолбит у Браукселя дырку в башке. Капель стучит и

стучит по оцинкованному оконному карнизу. Поскольку в конторе у Браукселя есть и помещения вовсе без окон, он мог бы от этой весенней терапии отказаться. Но Брауксель остается, он явно хочет занять в башке дырку: цел-лу-лойд, цел-лу-лойд, - коли уж кукла, то обязательно с дырочкой в аккуратном целлулоидовом лобике. Ибо Брауксель однажды уже пережил оттепель и превращался в невесту что под талой водицей с худеющего снеговика; но еще раньше, за много-много оттепелей до того, Висла текла под толстым, изрезанным санными следами ледяным покрывалом. А юношество всех окрестных рыбацких деревень всюю забавлялось катанием под парусом на закругленных коньках, называемых попросту "снегурками". Катались по двое, брали в руки сколоченную из досок раму с натянутой на нее простыней - это и был парус - и, поймав ветер, неслись вперед, аж дух захватывало. У всех изо рта пар. Снег, конечно, мешал, его сперва разгребали лопатами. Там, за дюнами, все земли без разбору, что плодородные, что нет, укрыты сугробами. Сугробы на обеих дамбах. Прибрежный снег незаметно переходит в снег на льду, который укрыл под собою бескрайнее море со всеми его рыбами. В скособоченной снежной шапке, наметенной с востока, на округлом белом холме стоит на своих скрещенных козлах матерновская ветряная мельница, стоит посреди белых полей, которые не убегают с глаз долой лишь благодаря прочным заборам, и мелет, мелет. Засахаренные наполеоновские тополя. Прибрежный лес почти не виден, словно художник-любитель густо замазал его белилами прямо из тюбика. Когда снег начал сесть, мельница сказала себе "Кончай работу!" и отвернулась из-под ветра. Мельник и его работник отправились домой. Кривобокий мельник по пятам за своим работником. Черная псина Сента, нервная с тех пор, как у нее отняли и продали всех щенков, рыщет по своим же следам и кусает снег. А прямо напротив мельницы, на заборе, с которого они предварительно ногами оббили снег, сидят в своих теплых зимних одеждах и варежках Вальтер Матерн и Эдуард Амзель.

Сперва они попросту молчат. Потом начинается разговор, темный, невнятный, одним словом - технический. Про мельницы с одним мельничным поставом, про голландские мельницы, хоть и без козел и без седла, но зато с тремя поставами да еще с поворотным ветряком, о хитроумном устройстве мельничных крыльев, со всеми их иглицами, рычагами и щитиками, позволяющими регулировать скорость вращения в зависимости от силы ветра. Поминаются мельничные веретена и мельничная параплица, мельничные балки и мельничные валы. Сложные взаимоотношения между седлом и тормозным приспособлением. Это только мелюзге лишь бы горланить: "Крутится мельница, вертится мельница..." А Вальтер Матерн и Амзель не горланят Бог весть что, они знают, почему и когда мельница крутится то быстрее, то медленнее, это зависит от того, насколько выпущены тормозные башмаки. И даже когда падает снег, если ветер дает свои восемь метров в секунду, мельница мелет равномерно, невзирая на беспорядочную снежную круговерть. Ничто в мире не способно сравниться с мельницей, которая мелет в метель, - даже пожарная команда, которая под проливным дождем тушит загоревшуюся водонапорную башню.

Но когда мельница сказала себе "Кончай работу!" и ее крылья, будто выпиленные лобзиком, замерли в снежной круговерти, Амзель вдруг показалось, может, оттого, что он на секундочку то ли прищурил, то ли смежил веки, что мельница вовсе не остановилась. Бесшумно мела метель, надувая с Большой дюны мельтешащую бело-черно-серую рябь. Терялись вдаль тополя у шоссе. В корчме Люрмана яичным желтком зажегся свет. Не слышно пыхте-

ния поезда из-за поворота узкоколейки. Ветер вдруг сделался колючим. Взметнулись и застонали кусты. Амзелю жарко, как в печке. Его друг клюет носом. Амзель видит нечто. А его друг ничего не видит. Пальчики Амзеля трутся друг о дружку в рукавицах, потом выскальзывают наружу, рыщут и нашаривают в левом кармане тулупчика правую лаковую туфельку с пряжкой - и сразу как электричеством! На руках и на лице у Амзеля ни снежинки - сразу же тают. Губы сами приоткрылись, а слегка прищуренные глазки видят сразу столько всего, что словами и не расскажешь. Они подъезжают друг за дружкой. Без кучеров. И мельница как мертвая. Четыре кареты на полозьях, две упряжки белых - на снегу почти скрадываются, две вороных - эти, наоборот, как нарисованные, а из них вылезают и помогают друг другу двенадцать и двенадцать, все безголовые. И вот уже безголовый рыцарь ведет безголовую монашенку на мельницу. А всего их было двенадцать пар - каждый рыцарь вел свою монахиню, и каждый нес свою голову, рыцари под мышкой, монахини перед собой, и все они зашли в мельницу. Однако в расстановке процессии возникли явные сложности, ибо - несмотря на одинаковые вуали и одинаковые доспехи - старые распри, еще со времен рагнитского лагеря, навязли у них в зубах. Первая монахиня не разговаривает с четвертым рыцарем. Что не мешает обоим весело болтать с рыцарем Фицватером, который знает литовские земли, как дыры в своей кольчуге. Девятая монахиня в мае должна была разродиться, но не разродилась, потому что восьмой рыцарь - его зовут Энгельгард Ворон - ей и шестой монахине (той, что каждое лето объедалась вишнями), схвативши меч толстого, десятого рыцаря, того, что уселся на балке с закрытым забралом и, со смаком отдирая мясо от костей, уплетал курицу, снес головы вместе с шестой и девятой вуалью. И все это только из-за того, что хоругвь Святого Георгия еще не была соткана, а река Шяшупа меж тем уже замерзла и годилась для переправы. И покуда оставшиеся монахини тем поспешнее ткали хоругвь - последнее багряное поле уже почти было закончено, - третья монахиня, та, что с восковым лицом всегда тенью следовала за одиннадцатым рыцарем, сходила и принесла лохань, дабы было что подставить под кровавые струи. И тогда седьмая, вторая, четвертая и пятая монахини облегченно рассмеялись, отбросили в сторону свое рукоделие и склонили перед восьмым рыцарем, чернокудрым Энгельгардом Вороном, свои головы вместе с вуальями. Тот, не будь лентяй, сперва снес голову десятому рыцарю, который, расположившись на балке, уплетал курицу, - снес вместе с курицей, шлемом и забралом, после чего вернул ему меч, а уж этот толстый, безголовый, но тем не менее жующий десятый помог восьмому чернокудруму, помог второй, третьей - восковицей, что всегда держалась в тени, а уж заодно и четвертой и пятой монахиням избавиться от своих голов и вуалей, а Энгельгарду Ворону - от головы и шлема. Со смехом подставили лохань. Теперь ткачих-монахинь осталось совсем немного, а хоругвь все еще не была закончена, хотя Шяшупа все еще была подо льдом и годилась для переправы, хотя англичане со своим Ланкастером уже встали лагерем, хотя лазутчики уже разведали дороги и вернулись, хотя князь Витовд решил не вмешиваться, а Валленрод уже позвал всех к столу. Но лохань уже была полна и даже переплескивалась. И тогда настал черед десятой, толстой монахини - ибо, раз был толстый рыцарь, должна быть и толстая монахиня - подойти вразвалку и трижды поднять лохань, в третий раз уже тогда, когда Шяшупа освободилась ото льда, а Урсуле, восьмой монахине, которую все и всюду ласково кликали Туллой, пришлось опуститься на колени и подставить свою нежную, покрытую пушком шею под меч. А она только в марте приняла обет и уже двенадцать раз ус-

пела его нарушить. И не помнила точно, когда с которым по счету, потому как все с закрытым забралом; а тут еще англичане с Генрихом Дерби во главе - не успели лагерь разбить, а уже туда же, и всем невтерпех. Был среди них и Перси, но не Генри, а Томас Перси. Для него Тулла из тонкого шелка соткала особую маленькую хоругвь, хотя Валленрод и запретил все особые флаги. А вслед за Перси захотели и Джекоб Доутремер и Пиг Пигуд. В конце концов сам Валленрод вышел супротив Ланкастера. И вырвал из рук у Томаса Перси его маленькую карманную хоругвь и повелел фон Хаттенштайну поднять только что изготовленную хоругвь Святого Георгия и переправить ее через освободившуюся ото льда реку, а восьмой монахине, которую все кликали Туллой, приказал опуститься на колени, покуда сколачивается мост, во время коей работы утонуло четыре лошади и один смерд. И она пела куда прекрасней, чем пели до нее одиннадцатая и двенадцатая монахини. Умела и рулады выводить, и трелью рассыпаться, так что нежно-розовый язычок легкой пташкой порхал под темно-багряными сводами неба. Грозный Ланкастер плакал, пряча слезы под забралом, так ему не хотелось ни в какой крестовый поход, но у него были нелады с семьей, хоть потом он и стал королем. И тут вдруг, поскольку никто не хотел переправляться через Шяшупу, а всем, наоборот, до слез захотелось домой, из пышной кроны дерева, где он до этого спал, выпрыгивает самый младший из рыцарей и пружинистым шагом, крадучись, устремляется прямо к склоненной шее с нежным девичьим пушком. Он вообще-то из Мерса был, очень ему хотелось бартов в истинную веру обратить. Но барты к тому времени были уже все обращены и основали Бартенштайн. Вот ему и остались только литовские земли, а сперва пушок на шее у Туллы. По нему он и хрястнул, аккуратно возле первого позвонка, а после на радостях подбросил свой меч в воздух и, пригнувшись, поймал его на загревок. Такой он был ловкий парень, этот шестой, самый молодой из двенадцати. Четвертому этот трюк так понравился, что он решил его повторить, но неудачно - с первой попытки смахнул голову десятой, толстой, а со второй - первой, строгой монахине, обе головы, одна строгая, другая с двойным подбородком, так и покатались. Вот и пришлось третьему рыцарю, который никогда не снимал кольчугу и считался среди них мудрым, самому тащить лохань, поскольку живых монахинь у них больше не осталось.

Недолгий поход по литовскому бездорожью оставшиеся рыцари проделали с головами на плечах в сопровождении англичан без хоругви, дружины из Ханнау с хоругвью и ополченцев из Рагнита. Князь Кестутис бухал в непролазных топях. В дебрях гигантских папоротников кикиморой завывала его дочка. От гулко-зловещего уханья шарахались кони. А в итоге Потримпс так и остался непохороненным, Перкунас ни в какую не желал гореть, а неослепленный Пеколс по-прежнему угрюмо глядел исподлобья. Ах, почему они не додумались снять фильм! Статистов сколько угодно, натуры для съемок непочатый край, реквизита завались! Шестьсот пар ножных лат, арбалеты, металлические нагрудники, размокшие сапоги, жеванные уздечки, семьдесят штук льняного полотна, двенадцать чернильниц, двадцать тысяч факелов, сальные свечи, скребницы для лошадей, пряжа в мотках, солодовые палочки - эта жевательная резинка четырнадцатого столетия, - чумазые оруженосцы, своры псов, господа за игровой доской, арфисты, шуты, погонщики, галлоны ячменного пива, пучки штандартов, стрел, вертелов и копий для Симона Бахе, Эрика Крузе, Клауса Шоне, Рихарда Вестралля, Шпаннерле, Тильмана и Роберта Венделла, без которых не сколотился бы мост, не было бы шальной переправы, засады в грозу под затяжным дождем: пучки молний, ду-

бы в щепки, кони на дыбы, совы таращатся, лисы петляют, стрелы свищут, славному немецкому рыцарству делается не по себе, а тут еще в кустах ольшаника слепая провидица завывает: "Вела! Вела!" - "Назад! Назад!", - но лишь в июле им суждено снова узреть ту речушку, которую и сегодня еще поэт Бобровский воспеваает в загадочных, темных виршах. Шяшупа текла как прежде, мирно журча и пенясь о прибрежные валуны. И гляди-ка, целая толпа старых знакомых: на бережку рядом сидят двенадцать безголовых монахинь, у каждой в левой руке собственная голова в собственной вуали, а правой рукой они черпают водичку из прозрачной Шяшупы и освежают ею свои разгоряченные лица. А чуть поодаль угрюмо стоят безголовые рыцари и охлаждаются не желают. И тогда оставшиеся рыцари, те, что еще с головами, решают, что отныне они будут заодно с безголовыми. Неподалеку от Рагнита взаимно и в одночасье они снесли друг другу буйные головушки, впрягли верных своих коней в простые повозки и отправились в белых и вороных упряжках колесить по обращенным и необращенным землям. Они возвысили Потримпса, низринули Христа, в который раз тщетно попытались ослепить Пеколса и снова вознесли крест. Они останавливались в трактирах и на постоялых дворах, в часовнях и на мельницах и так, с музыкой да потехой, прошли через столетия: стращали поляков, гуситов и шведов, побывали и при Цорндорфе, когда Зейдлиц решил исход битвы своими кавалерийскими эскадронами, подобрали на дороге, по которой без оглядки отступал корсиканец, четыре брошенных экипажа, радостно пересели в них из своих грубых крестonosных повозок и так, уже на рессорах, стали свидетелями второй битвы при Танненберге, которая, впрочем, точно так же, как и первая, вовсе не при Танненберге имела место. В рядах дикой буденновской конницы они едва-едва унесли ноги от Пилсудского, когда тот, не иначе как с помощью Пресвятой Девы Марии, разгромил их в излучине Вислы, а в те годы, когда Амзель создавал и продавал свои птичьи пугала, все еще не угомонились и колобродили где-то между Тапиау и Нойтайхом. И все они, двенадцать и двенадцать, не намерены были прекращать свои непотребства, покуда не будет ниспослано им избавление и каждый не сможет снова носить на плечах свою голову или хотя бы то, что от нее осталось.

Под конец они собирались сперва в Шарпау, потом в Фишер-Бабке. Первая монахиня уже иногда носила голову четвертого рыцаря, хотя по-прежнему с ним не разговаривала. И вот однажды они направились в Штутхоф, но не по дороге, а напрямик через поле, между шоссе и дюнами, остановились - только Амзель один их и видел - перед матерновской мельницей и вылезли: было как раз второе февраля, Сретенье, что они и намеревались отпраздновать. Помогли друг дружке выйти из экипажей, взобраться на горку, войти в мельницу. И сразу же после этого - один Амзель это слышал - мельница вся, от козел до чердака, пошла ходить ходуном, содрогаясь от стуков и вскриков, воя и клацанья, ведьмовских заклинаний и молитв. Тут и зацокало что-то, и с металлическим звоном присвистнуло, а снег между тем все мело и мело откуда-то с дюн, надо полагать все же с неба. Амзель весь горит и крепче сжимает в глубине своего кармана лаковую туфельку с пряжкой, между тем как друг его спит и знай себе посапывает. Короткий антракт, ибо они там внутри тем временем валяются в муке, скачут верхом на балках, засовывают пальцы между веретеном и тормозом и поворотным брусом устанавливают, раз уж сегодня Сретенье, мельницу против ветра: она раскручивается медленно, поначалу с неохотой; и тут двенадцать голов благостными голосами затягивают "Мать стояла в смертной боли": О Пеколс, как хладны наши косточки, семерых из двенадцати холод сковал - juxta

crucem lacrimosa - О Перкунас, мы горим все двенадцать, вот уж пеплом один из нас стал - Dum pendebat filius - О Потримпс, в муке катаясь, кровь Христа мы пьем, покаясь... И вот наконец, покуда в помольном ковше, перекатываясь, подпрыгивает, гремя шлемом, голова восьмого, черного рыцаря вместе с добродушной толстомясой головой десятой монахини, матерновская мельница раскручивается все быстрее и быстрее - и это при полном безветрии. И вот уже младший из рыцарей, тот, что с нижнего Рейна, лихо швыряет свою поющую голову с широко раззявленным забралом восьмой монахини. А та как будто ни при чем, даже узнавать не хочет, и вообще ее зовут Урсула, а не Тулла, и ей вполне достаточно собственного общества, вон как скачет на штыре, что крепит мельничную балку. Он, понятное дело, трясется - крутится мельница, вертится мельница, - головы в помольном ковше уже горланят вовсю, и деревянный штырь уже скрипит от натуги, вороны в муке, обвязка крыши уже потрескивает, засовы уже выпрыгивают из скоб, черепушки вверх-вниз по лестнице скок-поскок, паломничество с чердака в заком и обратно, старая матерновская мельница молодеет на глазах от такого зуда-блуда и моленного восторга, она превращается - один Амзель со своей лаковой туфелькой это видит - в рыцаря, что, сидя гузном на козле, разит направо и налево, врубаясь в снегопад, превращается - один Амзель со своей туфелькой это понимает - в монашку в широком орденском платье, что, раздувшись от бобов и экстаза, машет рукавами, ветряной рыцарь, ветряная монахиня, бедность, бедность, бедность. Но уже выхлебано свернувшееся молоко кобылицы. Уже забродила брага из посевного куколя. И острые резцы уже обглаживают лисьи косточки, пока черепушки все еще мыкают горе: бедность, солодовый рай. Потом все-таки переметнулись, перевертыши, головы припрятали, и из великого попрапия поднимается, возликовав, чистейший голос аскезы, отрешение, сладостная песнь песней богоугодного бичевания - ветряной рыцарь взмахивает ветряным бичом, ветряной бич настигает ветряную монахиню - аминь - или нет, еще не аминь, ибо пока с небес, бесшумный и бесстрастный, падает белый снег, а Амзель, прищулив глазенки, прирос к забору, нашаривая в глубинах левого кармана своего тулупчика правую лаковую туфельку с пряжкой, что принадлежала когда-то Хедвиг Лау, и уже вынашивает свой очередной замысел, - где-то на чердаке проснулся огонек, который дремлет в закутке всякой мельницы.

И тогда все скопом - едва их головы шустро и без разбору повскакивали на обрубки шей - они покинули мельницу, крылья которой крутились все медленнее, пока почти вовсе не остановились. Зато сама мельница - покуда они расселись по экипажам и на быстрых полозьях умчались в сторону дюн, - занявшись изнутри, начала разгораться все сильнее. Тут только Амзель кубарем свалился с забора, увлекая за собой товарища. "Пожар! Пожар!" - вопили оба во все горло, повернувшись в сторону деревни, но уже поздно было что-либо спасать.

Двадцать первая утренняя смена

Наконец-то рисунки доставлены. Брауксель немедленно распорядился их окантовать, застеклить и развесить. Средний формат: "Скопление монахинь между кельнским собором и кельнским главным вокзалом", "Евхаристический конгресс. Мюнхен", "Монахини и вороны, вороны и монахини". Потом большие листы, формат А-1, черная тушь, местами с прорисовкой: "Разоблачение

послушницы", "Большая аббатиса", "Аббатиса на корточках" - это особенно удачная работа. Автор просит пятьсот марок. Что ж, это по-божески, вполне по-божески. Этот рисунок сразу в конструкторское бюро. Мы встроим почти бесшумные электромоторчики: ветряная монахиня взмахивает ветряным бичом...

Ибо покуда полиция обследовала пепелище, поскольку подозревали поджог, Эдуард Амзель построил свое первое, а по весне, когда всякий снег утратил всякий смысл и выяснилось, что католическую мельницу из религиозных побуждений подпалил меннонит Симон Байстер, - и свое второе механическое птичье пугало. Много денег, много монет из заветного кожаного мешочка ушло на эту затею. Судя по чертежам в дневнике, он изготовил ветряного рыцаря и ветряную монахиню, облачил их в соответствующий наряд с лоскутными рукавами-крыльями и, усадив на козлы, отдал на произвол ветрам; однако ни ветряной рыцарь, ни ветряная монахиня, хотя обе эти работы мгновенно нашли покупателей, не воплотили в себе то, что запечатлелось в душе Эдуарда Амзеля снежной ночью на Сретенье; словом, художник в нем остался не удовлетворен; вот и фирма "Брауксель и Ко" вряд ли закончит разработку мобильных птичьих пугал раньше середины октября и только тогда запустит их в серийное производство.

Двадцать вторая утренняя смена

После пожара сперва паром, потом поезд узкоколейки доставили бескарманного и беспуговичного, то бишь грубого меннонита, мелкого землепашца и рыбака Симона Байстера, который из религиозных побуждений учинил поджог, в город, а точнее - в городскую тюрьму Шисштанге, что находилась в районе Новосад, у подножия Ячменной горы, и на несколько лет стала его постоянным местом жительства.

Сента, из рода Перкуна, оценившаяся шестью кутятами, Сента, чей черный окрас так замечательно выделялся на фоне белого мельника, начала, после того как всех щенков ее продали, проявлять признаки собачьей нервозности, а после пожара и вовсе впала в столь опасное умопомешательство - аки волк зарезала в деревне овцу, а потом напала на представителя противопожарной страховой компании, - что мельник Матерн вынужден был послать своего сына Вальтера к Эриху Лау, учителю сельской школы в Шивенхорсте: у отца Хедвиг Лау имелось охотничье ружье.

В жизнь друзей пожар на мельнице тоже внес кое-какие перемены. Судьба - а точнее сельский учитель, вдова Амзель и мельник Матерн вкуче с директором департамента учебных заведений доктором Батке - сделала из десятилетнего Вальтера Матерна и десятилетнего Эдуарда Амзеля двух гимназистов, которым даже удалось сесть за одну парту. И покуда на пепелище матерновская мельница отстраивалась заново - от проекта голландской, кирпичной мельницы с поворачивающимся чепцом пришлось отказаться ради сохранения исторического образа исконно немецкой мельницы на козлах, ибо здесь как-никак переночевала императрица Луиза, - разразился праздник Пасхи, сопровождаемый умеренным паводком, традиционным нашествием мышей и бурным лопаньем вербных почек; а вскоре после Пасхи Вальтер Матерн и Эдуард Амзель уже щеголяли в зеленых бархатных шапочках реальной гимназии Святого Иоанна. У обоих был одинаковый размер головы, но в остальном Амзель был много, много толще. Кроме того, у Амзеля на макушке был только один вихор, а у Вальтера Матерна целых два, что, по некоторым суевер-

ным утверждениям, является предвестием ранней кончины.

Необходимость добираться от устья Вислы до гимназии Святого Иоанна превратила наших друзей из обычных учеников в учеников приезжих. А приезжие ученики много видят по дороге и еще больше врут. Приезжие ученики умеют спать сидя. Приезжие ученики делают домашние задания в поезде, благодаря чему у них вырабатывается неровный, тряский почерк. И даже в зрелые годы, когда домашние задания делать уже не надо, эта своеобразность почерка сохраняется, разве что тряскость исчезает. Вот почему господин артист вынужден печатать свою рукопись прямо на машинке - бывший приезжий ученик, он пишет совершенно неразборчивыми каракулями, все еще сотрясаемый толчками воображаемых поездов своего детства.

Поезд узкоколейки отправлялся с Прибрежного вокзала, который городские жители называли Нижним, проезжал через Кньюппелькруг и Готтсвальде, под Шустеркругом переправлялся на канатной переправе через старицу - Мертвую Вислу, а под Шивенхорстом, уже на паровом пароме, через так называемый Стежок попадал в Никельсвальде. Затем, втащив на дамбу Вислы каждый из четырех вагончиков по отдельности и оставив Эдуарда Амзеля в Шивенхорсте, а Вальтера Матерна в Никельсвальде, трудяга-паровозик устремлялся дальше через Пазеварк, Юнкеракер и Штеген к Штутхофу, конечной станции узкоколейки.

Все приезжие ученики всегда садились в первый вагончик, сразу за паровозом. Из Айнлаге приезжали Петер Иллинг и Арнольд Матрай. В Шустеркруге подсаживались Грегор Кнессин и Иоахим Бертулек. В Шивенхорсте, неизменно сопровождаемая матерью, к поезду соизволяла прибыть Хедвиг Лау. Впрочем, нежное дитя часто страдало от воспаления миндалин и тогда не появлялось. Совершенно непонятно, как это узкогрудый трудяга-паровозик осмеливался трогаться в путь, так и не дождавшись Хедвиг Лау. Дочь сельского учителя была, как и Вальтер Матерн с Эдуардом Амзелем, в шестом младшем классе. Позже, начиная с четвертого среднего, она погрубела, перестала болеть воспалением миндалин и, поскольку никто больше не трясся за ее драгоценное здоровье и даже жизнь, превратилась в столь скучную особу, что вскоре Брауксель вообще прекратит упоминать ее имя на этих страницах. Но пока что Амзель все еще питает некоторую слабость к этой тихой, почти заспанной, хотя и хорошенькой - пусть только в масштабах побережья - девчушке. Вот она, чуть-чуть слишком белокурая, чуть-чуть слишком голубоглазая, с чересчур свежим личиком и раскрытым учебником английского на коленях, сидит прямо напротив Амзеля.

Хедвиг Лау носит косички с бантиками. Даже когда поезд начинает приближаться к городу, от нее все равно пахнет маслом и молоком. Амзель, прищулив глаза, ловит золотисто-белокурые отблески прибрежной девичьей красоты. А за окном после Кляйн-Пленендорфа вместе с первыми пилорамами начинается лесопогрузочный порт: чайки сменяют ласточек на проводах, телеграфные столбы остаются. Амзель раскрывает свой рабочий дневник. Косички Хедвиг Лау кокетливо и легко покачиваются над учебником английского. Амзель быстрыми штрихами набрасывает рисунок: мило, очень даже мило! Висячие косы он по художественным соображениям решительно отвергает и вместо этого свивает из них два бублика, чтобы закрыть ее слишком розовые, почти красные уши. Но не то чтобы он сказал - мол, сделай так, так гораздо лучше, косы у тебя дурацкие, надо носить бублики, нет, дождавшись, когда за окном показывается предместье Кнайаб, он молча кладет свой дневник на ее раскрытый учебник, и Хедвиг Лау, изучив рисунок, манием ресниц выражает согласие, почти покорность, хотя внешне Амзель

вовсе не похож на тех мальчишек, которых привыкли слушаться одноклассницы.

Двадцать третья утренняя смена

Брауксель питает неистребимое отвращение к неиспользованным бритвенным лезвиям. Его верный друг и правая рука в свое время, еще в пору акционерного общества "Бурбах-калий АО", освоивший в качестве забойщика весьма обильные соляные залежи, "освящает" лезвия Браукселя и приносит их ему после своего первого бритья, благодаря чему Браукселю не приходится преодолевать того отвращения, какое - с той же силой, хотя и не к бритвенным лезвиям, - от рождения мучило Амзеля. А именно: Амзель не мог выносить и, следовательно, носить новую, пахнущую обновкой одежду. Равно как и запах свежего белья вынуждал его с трудом подавлять в себе приступы подкатывающей дурноты. Покуда он пребывал в лоне сельской школы, этой его аллергии были положены естественные пределы, поскольку что шивенхорстская, что никельсвальденская поросль просиживала школьные парты в перешитом и перелатанном, перелицованном и перештопанном, протертом почти до дыр тряпье. Но реальная гимназия Святого Иоанна требовала иного облачения. И вот мать одела Амзеля во все новехонькое, с иголочки: зеленая бархатная шапочка уже упоминалась выше, к ней присовокупились рубашки спортивного покроя, песочно-серые бриджи дорогого сукна, синяя куртка из чертовой кожи с перламутровыми пуговицами и - не исключено, что по заявке самого Амзеля, - лаковые башмаки с пряжками; ибо Амзель не имел ничего против пряжек и лака, перламутровых пуговиц и чертовой кожи, и лишь мысль о том, что все эти новые одежки будут соприкасаться с его живой кожей, с его шкурой простого крестьянина, который сам сродни своим птичьим пугалам, - эта мысль приводила его в содрогание, больше того, свежее белье и неношенная одежда вызывали у него мучительный зуд и экзему; точно так же и Брауксель после бритья новыми лезвиями вынужден опасаться появления отвратительных лишаев вокруг подбородка.

К счастью, тут Вальтер Матерн мог выручить своего друга. Его школьный костюм был пошит из перелицованного сукна, его ботинки на шнурках уже дважды побывали у сапожника, гимназическую шапочку бережливая мать Вальтера Матерна тоже купила ношеную, поэтому первые две, если не три недели поездки друзей в школу по узкоколейке начинались с одной и той же неизменной церемонии: где-нибудь в товарном вагоне, среди бессловесной убойной скотины, друзья обменивались школьной одеждой; в том, что касается обуви и шапочек, это было проще простого, зато куртка, бриджи и рубашка Вальтера Матерна - отнюдь, кстати, не замухрышки - были его другу явно узки, тесны и неудобны, и тем не менее они ласкали его тело и дух, поскольку были ношенными, перелицованными и пахли старьем, а не обновкой. Надо ли объяснять, что новая одежда Амзеля висела на его друге мешком, к тому же лак и пряжки, перламутровые пуговицы и смешная курточка из грубой замши были ему не слишком к лицу. Амзель, однако, с наслаждением пряча свои ноги чучельного крестьянина в грубые, сморщенные, залатанные башмаки, искренне восторгался лаковыми ботинками на ногах у Вальтера Матерна. Тому пришлось их изнашивать до тех пор, покуда Амзель не признал их ношенными и не счел такими же растрескавшимися, как та лаковая туфелька с пряжкой, что хранилась у него в ранце и так много для него значила.

Забегая вперед, надо сказать, что это традиционное переодевание дол-

гие годы оставалось если не главным связующим звеном, то по крайней мере важным компонентом дружбы Вальтера Матерна и Эдуарда Амзеля. Даже носовые платки, свежевыстиранные и складочка к складочке отутюженные, которые Амзелю заботливо подкладывала в карман его матушка, приходилось обновлять его другу, равно как и гетры и носки. Впрочем, дело не ограничивалось одной одеждой - ту же болезненную чувствительность Амзель выказывал по отношению к новым карандашам и ручкам: карандаши Вальтеру Матерну приходилось затачивать, снимать парадный глянец с нового ластика, распиливать новые зуттерлиновские перья; разумеется, он, точно так же, как верный друг Браукселя и его правая рука, неминуемо должен был бы опробовать и новые бритвенные лезвия, если бы в ту пору на веснушчатом мальчишеском лице Амзеля уже созрел первый рыжеватый пушок.

Двадцать четвертая утренняя смена

Кто это там стоит, облегчившись после завтрака и изучая собственное дерьмо? Кто этот человек, задумчивый и озабоченный, вечно в погоне за прошлым? И почему это принято глазеть именно на иссохший и лысый череп? Театральщина, гамлетовская болтовня, актерство! Брауксель, чьим пером пишутся эти строки, поднимает взгляд и спускает воду, созерцание помогло ему припомнить одну историю, которая дала обоим друзьям возможность - Амзелю скорее трезво, а Вальтеру Матерну по-актерски - и впрямь пережить приключение, от которого веет театральщиной.

Гимназия, расположенная в Мясницком переулке, разместилась там весьма таинственно и путано в зданиях бывшего монастыря францисканцев, то есть имела свою предысторию и, значит, была для обоих друзей гимназией не только реальной, но и идеальной, так как в древних стенах бывшего монастыря обнаружилось великое множество укромных уголков и потаенных мест, о которых ни учителя, ни даже гимназический сторож ведать не ведали.

Брауксель, руководящий сейчас шахтой, в которой не добывается ни калийная соль, ни руда, ни уголь и которая тем не менее работает вовсю, углубившись своим стволом уже на восемьсот пятьдесят метров в недра, сразу распознает все маленькие радости этого запутанного подземного царства: ведь под всеми классными комнатами, под гимнастическим залом и под писсуаром, под актовым залом и даже под учительской комнатой тянулись потайные ходы, ведущие в таинственные подземелья и темницы либо по кругу и даже в опасные тупиковые лабиринты. Когда после Пасхи начались уроки, Амзель первым вошел в классную комнату на первом этаже. Коротконогий увалень в башмаках Вальтера Матерна, он, едва ступив на натертые половицы и поведя своим розовым хомячковым носом, мигом учуял: сырость! подвал! приключение! - тут же остановился, сплел в задумчивости свои толстые пальчики, слегка попружинил на мысках тут и там, после чего носком правого ботинка отметил на одной из половиц крест. Поскольку же условный знак не повлек за собой ответного условного свиста, голова Амзеля на пухлой подушечке шеи недоуменно обернулась - там, за спиной, в лаковых ботинках Амзеля стоял Вальтер Матерн и явно не соображал что к чему, только таращился, как бычок, пока наконец свет понимания не озарил - от носа ко лбу - всю его физиономию и он не издал короткий ответный условный свист через зубы. Поскольку пустота под половицами отзывается гулко и загадочно, оба сразу почувствовали себя в классной комнате шестого начального почти уютно, чуть ли не как дома, пусть за окнами класса и не

текла красавица Висла, раздвигая прибрежные дамбы своими могучими плечами.

Так что после первой же гимназической недели оба они, столь небезразличные к рекам, нашли доступ к небольшой речушке и тем самым как бы возместили себе отсутствие Вислы. В помещении раздевалки возле гимнастического зала, который во времена францисканцев служил библиотекой, надо было открыть крышку люка. Врезанный в половицы квадрат, пазы которого были забиты отходами многолетней чистоплотности, но все же не настолько, чтобы укрыться от всевидящего ока Амзеля, поддался наконец усилиям Вальтера Матерна и из черного отверстия дохнуло все тем же: сырость! подвал! приключение! Так они обнаружили начало затхлого подземного лаза, который отличался от других ходов под классными комнатами тем, что выходил в шахту городской канализации и по ее тоннелям вел напрямик в Радауну. Маленькая эта речушка, обязанная своим таинственным именем, а также изобилием раков и рыбы Радаунским озерам, текла из этих озер по округу Берент и, миновав Петерсхаген, втекала в город со стороны Нового рынка. Попетляв - где под открытым небом, а где и в трубах под землей - по старому городу, ныряя под многочисленные мосты, облагороженная лебедями и плакучими ивами, она, наконец, между Карповым омутом и Брабанком сливалась с Мотлавой незадолго до впадения той в Мертвую Вислу.

Таким образом, Амзель и его друг могли, когда в раздевалке не было посторонних, подняв квадратную крышку заветного люка - что они и делали, - заползти в подземный ход - оба заползали, - где-то на уровне писсуара спуститься в шахту - по вмурованным в кирпичную кладку железным скобам первым спускался Вальтер Матерн, - на дне шахты без труда открыть заржавленную железную дверь - Вальтер Матерн открывал - и пройти по сухому, но зловонному и изобилующему крысами тоннелю в своих обменных друг у друга ботинках до самого конца. А если точнее: пройдя под Куриным валом и Тележным валом, под зданием управления Главной страховой компании, под Городским парком, под железнодорожными путями между Петерсхагеном и главным вокзалом, тоннель выводил к Радауне. Прямо напротив кладбища Святого Сальвадора, что уютно расположилось у подошвы Епископской горы между Гренадерским переулком и меннонитской церковью, тоннель под сводами мощной арки выбегал к реке. Тут же, чуть поодаль от проема, в отвесную каменную стену набережной снова были вмурованы железные скобы, по которым можно было взобраться до замызганных перил парапета. А уж отсюда открывался вид, хорошо знакомый Браукселю по многочисленным гравюрам: из свежей майской зелени парка во всем своем красно-кирпичном великолепии вздымается панорама города - от Оливских ворот до Легенских, от Святой Катарины до Святого Петра на Поггенпфуле многочисленные башни и шпили своей разновеликой высотой и неодинаковой статью доказывают, что они друг другу не ровня и далеко не одногодки.

Прогулку по тоннелю друзья совершали уже два или три раза. При этом Вальтер Матерн прикончил добрую дюжину крыс. Когда во второй раз они вышли на свет божий у берегов Радауны, их заметили старички, коротающие досуг в парке за пенсионерскими посиделками, но в полицию заявлять не стали. Да им и самим уже поднадоело - ведь Радауна все же не Висла, но тут, опять-таки под гимнастическим залом, но еще до шахты, ведущей в городскую канализацию, они наткнулись на боковой ход, кое-как заложенный кирпичами и потому поначалу ими не замеченный. Фонарь Амзеля выхватил его из темноты. Незученное ответвление подземного хода нельзя оставлять без внимания. Тем более, что ход был наклонный и вел куда-то вниз. Вско-

ре они оказались в довольно просторном, в человеческий рост, каменном тоннеле, который явно не относился к городской канализации, но вел по ветхим, гулким и шуршащим средневековым плитам не куда-нибудь, а под церковь, и не простую, а готическую церковь Святой Троицы. Знаменитая эта церковь стояла около музея в какой-нибудь сотне метров от реальной гимназии. В одну из суббот, когда было только четыре урока, а до ближайшего поезда оставалось еще два часа, друзья и совершили то открытие, о котором здесь и будет рассказано - и не потому только, что средневековые подземные ходы так увлекательно описывать, но потому, что открытие это дало шестикласснику начальной школы Эдуарду Амзелю пищу для созерцания, а его однокласснику Вальтеру Матерну - повод для актерства и скрежета зубовного. Не считая того, что Брауксель, руководящий, как известно, целой шахтой, обо всем, что касается подземных миров, умеет и любит изъясняться с особым шиком.

Скрипун - прозвище придумал Амзель, и оно в школе прижилось - идет впереди. В левой руке у него карманный фонарь, в правой - увесистая палка, чтобы отпугивать, а при случае и приканчивать огромных подземных крыс. Но крыс немного. Каменная кладка стен на ощупь крошковата, грубая, но сухая. Воздух прохладный, но не замогильно-холодный, как в склепе, к тому же в нем чувствуется легкий сквознячок, хотя и не очень понятно, откуда тянет. И эхо шагов не отдается, как в городских тоннелях. Так же, как в первом ответвлении и в связующем проходе, здесь довольно крутой уклон. На Вальтере Матерне наконец-то его собственные башмаки, ибо лаковые ботинки с пряжками от лазаний по подземельям достаточно натерпелись, так что теперь их обладатель может спокойно разгуливать в ношенной обуви. Так вот откуда сквознячок и хорошая рудничная вентиляция - из этой вот дырки! Так и прошли бы мимо, кабы не Амзель. Вон там, слева. Через этот лаз - семь кирпичей в высоту, пять в ширину - Амзель Скрипуна довольно быстро проталкивает. С ним-то самим посложнее. Зажав фонарик в зубах, Матерн изо всех сил тянет Амзеля сквозь проем, в немалой мере способствуя превращению почти новенького костюма друга в обычную школьную рванину. Наконец оба стоят по ту сторону, удовлетворенно пыхтя. Оказывается, они очутились на довольно просторной площадке - это дно круглого шахтного колодца. Взоры обоих немедленно устремляются вверх, ибо оттуда сочится слабый, размытый свет: там виднеется проломанная, но с большим искусством выкованная решетка, что вмурована в пол церкви Святой Троицы - они позже сами в этом удостоверятся. Вместе со слабеющим светом взгляды их сползают вниз, и там, внизу, фонарь совершенно отчетливо выхватывает из темноты прямо чуть ли не у них под ногами - да-да, скелет.

Он лежит скрюченный, явно какой-то неполный, с перепутанными или вьехавшими друг в дружку костями. Правая лопатка продавила четыре ребра. Грудину с отростком проткнули правые ребра.левой ключицы вообще нет. Позвоночный столб в области первого поясничного позвонка переломился, как тростинка. Кости рук и ног почти все кучей - в общем, кто-то явно гробанулся.

Скрипун стоит столбом, даже позволяет забрать у себя фонарь. Амзель принимается скелет высвечивать. При этом, вовсе не по его злому умыслу, а просто сама по себе возникает игра света и тени. Мыском своего лакового ботинка - впрочем, качественное определение "лаковый" Браукселю вскоре уже не понадобится - он проводит в мучнистой, лишь поверху заскорузлой корке шахтного дна борозду вокруг этих бранных останков рухнувшего тела, отходит в сторону, пускает вдоль этой борозды шустрого электричес-

кого зайчика из своего фонаря, прищуривает глазки, как всегда, когда он видит прототип или модель, склоняет набок голову, облизывает кончиком языка губы, прикрывает один глаз ладонью, поворачивается кругом, оглядывается через плечо, извлекает Бог весть откуда маленькое карманное зеркальце, принимается жонглировать светом, скелетом и отражением, затем, закинув руку с фонарем высоко за голову и наклонив зеркальце под углом, пускает луч света, то приподнимаясь на цыпочки и перебегая с места на место, дабы увеличить радиус, то для сравнения становясь на колени, разглядывает скелет в зеркальце, потом без зеркальца, повернувшись к нему лицом, исправляет прорисованную борозду то тут, то там, рисуя мыском своего ботинка придает контуру упавшего человека почти карикатурные очертания, уточняет их, стирая и прорисовывая заново все тем же мыском, гармонизирует, снова заостряет, стремится передать экстаз через статику, всецело подчинен лишь одной задаче - сейчас же сделать набросок с этого скелета, удержать его в памяти и после, уже дома, увековечить в своем дневнике. Что же удивительного в том, что Амзель, после того как все предварительные этюды закончены, испытывает вполне понятное желание поднять с земли череп, что завалился у скелета где-то между частично недос- тающими ключицами, и деловито засунуть его в свой школьный ранец, к тет- радям и книжкам, к хрупкой и ломкой туфельке Хедвиг Лау. Он хочет отвез- ти этот череп на Вислу и увенчать им одно из пугал, что стоят у него на стапелях, а лучше всего - то новое пугало, которое он только что набро- сал, так сказать, во прахе. И вот уже его рука с толстыми, растопыренны- ми пальцами-сардельками распростерлась над бренными останками ключиц, уже изготовилась подцепить череп за глазницы, дабы выудить его в целости и сохранности, - но в этот миг Скрипун, простоявший все это время стол- бом без сколько-нибудь заметных признаков жизни, начинает скрипеть всеми своими зубами. Он скрипит и скрежещет как обычно - слева направо. Но гулкая акустика шахты превращает этот звук в столь зловеющий скрежет зу- бовный и разносит его так далеко и громко, что рука Амзеля невольно за- мирает на полпути, а сам он, оглянувшись через пухлое плечо, испуганно направляет луч фонарика на своего друга.

Скрипун ничего не говорит. Пусть за него все скажет скрежет зубовный. А скажет он вот что: Амзель не смеет тянуть свои лапы куда не след. Ам- зель ничего с собой не возьмет. Череп брать нельзя. Не нарушай его по- кой. Не прикасайся к нему. Лобное место. Голгофа. Могильный курган. Скрежет зубовный.

Но Амзель, постоянно испытывающий нужду в костюмировке и реквизите, то бишь в самом наинасущном, уже снова тянет руку к черепу, и рука эта - ибо не каждый день случается найти череп - вторично появляется в свето- вом круге, выхваченном из пыльной тьмы лучом фонаря. Но тут его в пер- вый, а затем и во второй раз настигает удар палки, которая прежде разила только крыс. И гулкая акустика шахты усиливает и разносит во все стороны обидное слово, выкрикнутое между первым и вторым ударом:

- Абрашка!

Да, Вальтер Матерн обзывает своего друга "абрашкой" и лупит его пал- кой. Амзель валится на бок подле скелета. Клубы пыли вздымаются в воздух и медленно оседают. Амзель снова встает. Ну кто еще способен плакать та- кими крупными, такими отдельными слезами? Но кроме того, Амзель исхитря- ется, роняя из обоих глаз свои тяжелые слезы, превращающиеся на полу шахтного колодца в серые пыльные жемчужины, еще и изобразить то ли доб- родушную, то ли издевательскую улыбку.

- Walter is a very silly boy.

Снова и снова повторяет он на разные лады эту фразу из английского учебника для шестого класса, передразнивая их учителя. Ибо он не может иначе, он должен, даже сквозь слезы, кого-то изображать, в крайнем случае самого себя.

- Walter is a very silly boy. - И тотчас же перейдя на родное деревенское наречие, добавляет: - Это мой жмурик! Это моя черепушка! Это я нашел! Только примерить хотел. Потом бы обратно принес.

Но взывать к Скрипуну бесполезно. Вид костей, разбросанных смертным жребием, заставляет его нахмурить брови и вообще повергает в раздумья. Скрестив руки и опершись на свой дырн, он всецело погружается в созерцание. Всегда, когда он видит смерть - утопшую кошку, крыс, которых он только что собственноручно прикончил, чаек, пропоротых его неотвратимым ножом, раздувшуюся дохлую рыбку, которую перекатывают по прибрежному песку мелкие волны, или вот сейчас, когда он видит скелет, у которого Амзель хочет отнять череп, - он делает зубами слева направо и не может иначе. Вечное недоумение молодого буйволена сменяется на мальчишеском лице мучительной гримасой. Взгляд, обычно сонный, чтобы не сказать туповатый, становится пронзительным, нехорошим и выдает беспредметный гнев: да, в подземельях, склепах и шахтах под церковью Святой Троицы и вправду повеяло театральщиной. Тем более, что Скрипун вдобавок начинает молотить себя кулаком по лбу, потом наклоняется, хватая череп, поднимает его на уровень глаз и собственных мрачных мыслей, погружается в созерцание - между тем как Амзель, отойдя в сторонку, присаживается по нужде.

Кто это там присел, дабы облегчиться? И кто стоит неподалеку и держит перед собой чужой череп? Кто это с любопытством обернулся, изучая собственное дерьмо? Кто уставился на голый череп в потугах самопознания? У кого нет червячков, а еще недавно были, наверно от салата? Кто держит легкий череп и видит червячков, которые когда-нибудь и его вот так же? Кто? Кто? Два человека, каждый озабочен и задумался о своем. У каждого свои причины. Причем оба они друзья. Вальтер Матерн кладет череп на место, откуда взял. Амзель уже снова царапает в пыли мыском туфли и ищет, ищет, ищет. Вальтер Матерн громко произносит куда-то в пустоту торжественные слова:

- Пойдем лучше отсюда. Здесь царство мертвых. Может, это сам Ян Бобровский или Матерна, от которого весь наш род.

Амзелю нет дела до этих громких прорицаний. Он не верит, что легендарный разбойник Бобровский или разбойник, поджигатель и далекий предок Матерна могли когда-то облекать данный скелет своей плотью. Он уже откопал некий металлический предмет, поскреб его, потом плюнул, обтер и теперь предъявляет металлическую пуговицу, в которой он, не колеблясь, распознает принадлежность мундира наполеоновского драгуна. Вторая осада Данцига - уверенно датирует он свою находку и упрячивает ее в карман. Скрипун не возражает, он и не слушает почти, в мыслях он все еще где-то с разбойником Бобровским или своим предком Матерной. Остывающее дерьмо вынуждает обоих друзей ретироваться через дырку в стене. Вальтер Матерн лезет первым. Амзель протискивается задом, напоследок еще раз направив луч фонаря на мертвецкие кости.

Двадцать пятая утренняя смена

Пересменок в конторе "Брауксель и Ко": друзья заторопились возвращаться. Игрушечный поезд прибрежной узкоколейки на Нижнем вокзале дольше десяти минут никого не ждал.

Пересменок в конторе "Брауксель и Ко": сегодня празднуется двухсотпятидесятилетие Фридриха Великого. По такому случаю надо бы Браукселью один из забоев целиком заполнить продуктами той славной эпохи - да здравствует прусское подземное царство!

Пересменок в конторе "Брауксель и Ко": в раздевалке около гимнастического зала реальной гимназии Святого Иоанна Вальтер Матерн аккуратно укладывает квадратную крышку люка в пазы деревянного пола. Ребята обивают друг с друга пыль.

Пересменок в конторе "Брауксель и Ко": что принесет нам Великое Противостояние в ночь с четвертого на пятое февраля? В знаке Водолея Уран занимает неявную оппозицию, тогда как Нептун образует к ней квадратуру. Два более чем опасных симптома! Выйдем ли мы, выйдет ли Брауксель из этих звездных коллизий без ущерба? Суждено ли вообще завершиться этому опусу, повествующему о Вальтере Матерне, суке по кличке Сента, реке по имени Висла, об Эдуарде Амзеле и его птичьих пугалах? Брауксель, чье перо выводит эти строки, хотел бы, невзирая на крайне тревожные симптомы, все же избежать апокалипсических интонаций и поведать о последующем эпизоде спокойно и взвешенно, пусть даже аутодафе и сродни маленькому апокалипсису.

Пересменок в конторе "Брауксель и Ко": после того как Вальтер Матерн и Эдуард Амзель стряхнули друг с друга средневековую пыль, они тронулись в обратную дорогу. Вниз по Кошачьему переулку, вверх по Ластадии. Вот они выходят на Якорный. За зданием почтамта стоит новый лодочный павильон школьного союза гребцов - там как раз поднимают из воды лодки. Дождавшись, когда снова сведут Коровий мост, они переходят Мотлаву, по пути не один раз плюнув с моста в воду. Гвалт чаек. Подводы на мощных балках моста. Катят пивные бочки, пьяный грузчик висит на трезвом грузчике и обещает селедку целиком, от головы до хвоста, "спорим, что съем! спорим, что съем!". Теперь через Амбарный остров: "Эрих Каркатуш - мука, посевное зерно, бобовые культуры"; "Фишер & Никель - приводные ремни, асбестовые изделия"; через рельсы по путям, капустные листья, хлопья упаковочного волокна. Около витрины Ойгена Флаковского "Шорные и набивные материалы" они останавливаются: тюки сухих водорослей, индийской фибры, джутовой пряжи, конского волоса, рулоны маркизетного шнура, фарфоровые кольца, тяжелые кисти и позументы, позументы! Теперь напрямик через ручейки конской мочи по Мюнхенскому переулку, потом через Новую Мотлаву. Они поднимаются вверх по Плетневой набережной, вскакивают в прицепной вагон трамвая в сторону Соломенной слободы, но доезжают только до Долгосадских ворот и своевременно прибывают на вокзал к поезду той узкоколейки, что пахнет маслом и молоком, что медленно поспешает, но всю пыхтит на повороте и тянет, тянет свои вагончики вдоль побережья. Эдуард Амзель по-прежнему сжимает в кармане горячую пуговицу наполеоновского драгуна.

Друзья - а оба, конечно же, остаются неразлучными кровными братьями, невзирая на черепушку жмурика и словечко "абрашка", - больше о скелете под церковью Святой Троицы не говорили. Лишь однажды, в Подойниковом переулке, между спортивными товарами Дойчендорфа и молочным заводом Вальтинат, перед витриной магазина, где были выставлены чучела белок, куниц, сов, токующих глухарей и орла, который, распахнув свои огромные чучельные крылья, когтил чучельного ягненка, перед витриной, что, низвергаясь

широкой лестницей из оконных глубин до самого стекла, являла взору мышеловки, лисьи капканы, пачки ядовитого порошка от насекомых, пакетики нафталина, "комариной смерти", "грозы тараканов", крысиный яд и вообще весь арсенал крысоловов, птичий корм, собачьи галеты, пустые аквариумы, баночки с сушеными мухами и водяными блохами, заспиртованных лягушек, саламандр и змей в склянках, рогатых жуков, волосатых пауков и обыкновенных морских коньков, человеческий скелет - по правую сторону витрины, скелет шимпанзе - по левую, скелет бегущей кошки в ногах у маленького шимпанзе на предпоследней полке витрины, тогда как на самой верхней во всей поучительной наглядности были по порядку разложены черепа мужчины, женщины, старика, ребенка, младенца-недоноска и младенца-уродца, - перед этой всеохватной витриной-энциклопедией - в самом магазине можно было купить породистого щенка и доверить официально зарегистрированному специалисту утопление котят, - перед витриной, стекло которой два раза в неделю до блеска мыли, Вальтер Матерн без обиняков предложил другу, если надо, купить на оставшиеся в кожаном мешочке деньги пару-тройку черепов, дабы использовать их в пугалостроении. Амзель отмахнулся, ответив с подчеркнутой лаконичностью, в которой, однако, не было никакой обиды, скорее легкая снисходительность, что тема скелета хотя и не устарела и не закрыта, но все же не настолько жгучая, чтобы тратить на нее последние деньги; если уж входить в расходы, то лучше по дешевке, на вес купить у окрестных крестьян и птичников гусиных, утиных и куриных перьев; ибо он, Амзель, задумал нечто совсем неожиданное - создать птичье пугало в виде огромной птицы; витрина в Подойниковом переулке со всем ее чучельным зверинцем навела его на эту мысль, особенно орел, закогтивший ягненка.

О святой и умиротворяющий миг вдохновения: ангел стучит себя пальцем по лбу. Музы с истерзанными от поцелуев устами. Планеты в Водолее. Кирпич с крыши. Яйцо о двух желтках. Пепельница доверху. Капель за окном: цел-лу-лойд. Короткое замыкание. Шляпные картонки. Что там сворачивает за угол? Лаковая туфелька с пряжкой. Кто входит без стука? Да это же сама Барбарина, Снежная Королева, а вот и снеговики. Все, что поддается набивке: Бог, угри, птицы. Что добывается в шахтах? Уголь, руда, соль, птичьи пугала, минувшее...

Это пугало возникнет чуть позже. Ему на годы суждено стать последним творением Амзеля. Под названием - вероятно, все же ироническим - "Большая птица Долбоклюй" (имя, которое, как явствует из примечания, предложил не Амзель, а паромщик Криве) в виде эскиза конструкции и цветного рисунка оно дошло до нас как заключительная работа того дневника, что и сегодня более или менее надежно хранится у Браукселя в сейфе.

Тряпки - так примерно сказано в дневнике - надо обмазать дегтем или варом. После чего эти обмазанные варом или дегтем тряпки надо с внешней стороны, а если перьев достаточно, то и с внутренней, обклеить крупным и мелким пером. Но не как в жизни, а чтобы было почуднее.

У обмазанной и обклеенной на такой манер Большой птицы Долбоклюй, когда она, размером несколько выше человеческого роста, появилась на дамбе, вызывая всеобщую оторопь, перья и впрямь стояли дыбом. Вид у нее был, однако, совсем не чудной, а попросту жуткий. Даже самые прожженные рыбаки раздражались проклятиями, уверяя, что от этакой твари враз родимчик хватит, можно окосеть, схлопотать бельмо, а то и выкидыш. Мужики, правда, внешне сохраняли каменную невозмутимость, но трубки у них остывали. Иоганн Ликфетт сказал:

- Нет, братцы, этого мне даже даром в подарок не надо...

Покупатель нашелся с трудом. И это при том, что цена, невзирая на деготь и перья, была небольшая. С утра Долбоклой вообще простаивал на дамбе в полном одиночестве, мрачно вырисовываясь на фоне пустынного неба. Только когда из города возвращались школьники, некоторые из них как бы невзначай заходили на дамбу, однако останавливались на почтительном отдалении, присматривались, обменивались суждениями, зубоскалили, но покупать не желали. Ни одной чайки в безоблачном небе. Не шуршат в дамбе мыши - ушли. Висла и рада бы сделать крюк, да не может. Во всей округе уже майские жуки - только не в Никельсвальде. Когда наконец учитель Ольшевский - он всегда был немного со странностями - больше ради полноты удовольствия, нежели для того, чтобы оградить от потравы каких-то две сотки своего палисадника, смеясь громче обычного, выказал некоторый интерес - он называл себя человеком просвещенным, - Большая птица Долбоклой была немедленно сбавлена по цене намного ниже начальной.

Две недели простояло чудовище в палисаднике, отбрасывая черную тень на беленные стены скромной учительской хижинки. Ни одна птица пикнуть не смела. Ветер с моря топорщил вороньи дегтярные перья. Кошек охватывал психоз, и они стали исчезать из деревни. Младшие школьники обходили птицу стороной, по ночам мочились в постель, просыпались с криком и белыми от ужаса ногтями. В Шивенхорсте у Хедвиг Лау воспалились миндалины, а у двобавок пошла кровь из носа. Старику Фольхерту, когда он колол дрова, в глаз попала щепка. Глаз долго не заживал. Когда наконец бабушку Матерн посреди курятника хватил удар, многие прямо заявили, что это все из-за проклятой Большой птицы; и это при том, что куры и даже петух во дворе Матернов уже неделями перетаскивали в клювах солому, что испокон веков считается предвестием смерти. И все в доме Матернов - первой бедная Лорхен - слышали древесного червячка, эти покойнички ходики. Старуха Матерн отнеслась к предзнаменованиям серьезно и заказала последнее причастие. Которое и приняла в свой смертный час среди перетаскивающих солому кур. В гробу она выглядела, пожалуй, почти умиротворенно. На ней были белые перчатки, а в скрюченных пальцах она держала благоухающий лавандой кружевной платок. В цветочек, как и положено. Правда, перед тем как закрыть гроб и опустить его в освященную по католическому обряду землю, ей, к сожалению, забыли вынуть из волос булавку. Этим упущением объясняются, должно быть, те свирепые мигрени, которые сразу же после похорон напали на мельничиху Матерн, урожденную Штанге, и с тех пор мучили ее до конца дней.

Когда тело положили в верхней горнице, а односельчане, шурша накрахмаленными сорочками и платьями, толпились на кухне и на лестнице, чтобы, прощаясь с покойницей, произнести свое: "Ну вот ее и нет больше с нами", "Ну вот ей и не нужно больше хлопотать", "Ну вот и отмучилась, теперь будет ей вечный покой", - паромщик Криве попросил разрешения приложить правый указательный палец покойницы к одному из немногих оставшихся своих зубов, который вот уже несколько дней как нагноился и мучительно нарывал. Мельник, стоя между окном и деревянным креслом, весь какой-то чужой в парадном черном костюме, без мешка и мучного червяка на плече, без привычной ряби света и тени, поскольку новая мельница еще не работала, задумчиво кивнул. Тут же с правой руки старухи Матерн осторожно стянули перчатку, и Криве прикоснулся своим гнилым зубом к кончику ее скрюченного указательного пальца. О святой и упоительный миг чудесного исцеления: ангел стучит пальцем по лбу, налагает десницу, гладит против шерсти и скрещивает пальцы. Жабья кровь, вороний глаз, молоко кобылицы. На две-

надцатую ночь, три раза через левое плечо, семь раз на восток. Булавки из головы. Волосы со срамного места. Пушок с темечка. Выкопать, по ветру развеять, ссаками пропитать, за порог вылить, ночью одному, еще до петухов, на Матфея. Яд из куколя. Сало новорожденного. Пот мертвеца. Простыни умершего. Палец покойника - ибо гнойник под зубом Криве после прикосновения скрюченного указательного пальца правой руки покойной бабки Матерн и вправду, похоже, рассосался, да и боль, в строгом соответствии с приметой - палец мертвеца врачует больные зубы - сперва поутихла, а потом и вовсе прошла.

Когда гроб уже вынесли из дома и он, покачиваясь, поплыл сперва мимо усадьбы Фольхерта, потом мимо хибарки и палисадника учителя, один из несущих гроб мужиков вдруг споткнулся, поскольку Большая птица Долбоклюй все еще жуткой пернатой тенью нависала над учительским кровом. Споткнуться нельзя просто так. Это всегда что-то значит. А уж на похоронах, с гробом, и подавно - это переполнило чашу. Крестьяне и рыбаки сразу нескольких окрестных деревень призвали учителя Ольшевского к порядку, пообещав, если не подействует, сделать это по всей форме через департамент учебных заведений.

В следующий понедельник, когда Амзель и Вальтер Матерн возвращались из школы, учитель Ольшевский уже поджидал их в Шивенхорсте на паромном причале. Он стоял в своих брюках-гольф и спортивном жакете в крупную клетку, в парусиновых туфлях и в соломенной шляпе. Покуда вагончики поезда загонялись на паром, он при молчаливой поддержке паромщика Криве произнес, обращаясь к друзьям, небольшую речь. Он сказал, что больше так не может, некоторые родители уже жалуются, даже грозились написать директору департамента учебных заведений, в Тигенхофе уже тоже что-то прослышали, разумеется, тут не обходится без самых примитивных суеверий, тем более, что ими пытаются объяснить смерть бабушки Матерн - "этой превосходной женщины!" - и все это в нашем просвещенном двадцатом столетии, но никому, особенно здесь, на Висле, не дано плыть против течения, поэтому он, наверно, скажет так: сколь ни прекрасно это пугало, но сельские жители, особенно в здешних местах, до такой красоты еще не доросли.

А еще учитель Ольшевский сказал своему бывшему ученику Эдуарду Амзелю дословно вот что:

- Мой мальчик, ты теперь ходишь в гимназию, ты сделал важный шаг в большую жизнь. В деревне тебе отныне будет тесно. Так что пусть твое усердие, твое художество, твой, как говорится, Божий дар ищет себе нового выхода там, в большом мире. Но здесь, у нас, тебе пора остепениться. Ты же знаешь, я желаю тебе только добра.

На следующий день слегка повеяло апокалипсисом: Амзель разобрал свой склад в сарае у Фольхерта. Выглядело это так: Матерн отомкнул навесной замок, и на удивление много добровольных помощников принялись выносить барахло "старьевщика" - так прозвали Амзеля в окрестных деревнях - из сарая на улицу. Четыре начатых пугала, связки досок, реек, штакетин. Разлеталось по ветру выщипанное набивочное волокно. Матрасы изрыгали сухие водоросли. Конский волос рвался из диванных подушек. Пожарная каска, изумительный длинноволосый мужской парик из Крамплица, кивер, широкополые панамы, плюмажи, колпаки от сачков для бабочек, шляпы велюровые и фетровые, шляпа калабрийская и веллингтоновская, которые были получены в подарок от семейства Тиде из Грос-Цюндера, - словом, все, что способно прикрыть макушку, кочевало теперь с одной головы на другую, извлеченное из затхлой дровяной тьмы на медовый солнечный свет: "Старье берем!"

Старье берем!" Сундук Амзеля, содержимое которого могло бы свести с ума сотню профессиональных бутафоров и костюмеров, изливался потоками рюшей и мишуры, ручейками кисеи и стекла, струйками кружев, багетного шнура и благоухающих гвоздикой шелковых кистей. Все, у кого руки-ноги есть, все, кто пришел помочь старьевщику, теперь впали в примерочный раж, надевали, снимали, снова бросали в кучу - свитера и пиджаки, панталоны и даже лиственно-зеленые, лягушачьи литовки. Заезжий молочник-оптовик подарил Амзелью зуавский китель и сливово-сизый жилет. Эх-ма, а корсет-то, корсет! Двое уже укутались в необъятные блохеровские крылатки. Одержимые танцевальным демоном невесты, обдавая всех ароматом лаванды, кружились в подвенечных платьях. Бег в шароварах, как в мешках, - по двое. Истошный зеленый вопль рабочего халата. Колобок муфты. Дети в накидках, как мыша-та. Бильярдное сукно с дырками для луз. Сорочки без воротника. Брыжи и наусники, матерчатые фиалки, восковые тюльпаны и бумажные розы, награжденные бляхи стрелковых праздников и собачьи жетоны, анютины глазки в волосы, наклейки-мушки и фальшивые серебряные кружева. "Старье берем! Старье берем!" Обувь, впору или нет, тоже пошла в ход - кто натягивал галоши, кто шаркал в шлепанцах, мелькали сапожки, сапоги на шнуровке и с отверстиями, остроносые гнутые штиблеты топтали табачно-бурые гардины, кто-то босиком, но в гамашах отплясывал на фамильных шторах с графским, княжеским, а может, и королевским гербом. Прусское, куявское, вольное данцигское, все летело в одну кучу - какой праздник в крапиве за фольхертовским сараем! А на самом верху, над всем этим нафталиновым раем, гордо реяла, подпираемая жердями, Большая птица Долбоклюй - главный виновник всеобщего возмущения, страх и ужас окрестной детворы, Ваал здешних мест, весь в дегте и перьях.

Солнце светит почти отвесно. Разведенный опытной рукой и штормовой зажигалкой Криве, огонь разгорается уверенно и жадно. Все отходят на шаг-другой назад, но остаются, желая быть свидетелями великого сожжения. И пока Вальтер Матерн, как всегда во время официальных церемоний, производит довольно много шума, пытаюсь скрежетом зубовным переспорить треск пламени, Эдуард Амзель, прозываемый "старьевщиком", а иногда - быть может даже и сейчас, во время этого веселого аутодафе, - "абрашкой", стоит как ни в чем не бывало на своих веснушчатых ногах-коротышках, радостно потирает друг о друга подушечки ладоней, щурит свои глазенки и что-то видит. И это не желто-зеленый едкий дым, не сморщенная паленая кожа, не обжигающий полет искристой моли заставляет его сощурить свои круглые глаза в узенькие щелочки; скорее уж это гигантская птица, охваченная многоязыким пламенем, дым которого тяжело оседает и низко стелется по крапиве, дарит его животворными идеями и прочими изюминками вдохновения. Ибо, видя, как эта воспалившаяся тварь, рожденная из тряпья, дегтя и перьев, брызжа огнем, треща и оживая до неправдоподобия, совершает свою последнюю попытку взлететь, а потом, взметнувшись огненным фонтаном, вдруг разом обрушивается, Амзель решает (и записывает это в своем дневнике) позднее, когда он вырастет, еще раз вернуться к идее Большой птицы Долбоклюй: он построит гигантскую птицу, которая беспрерывно горит, но никогда не сгорает - нет, она вечно, по самой природе своей, апокалипсической и декоративной одновременно, горит, полыхает и стреляет искрами.

Двадцать шестая утренняя смена

За несколько дней до четвертого февраля, прежде чем критический звездный час поставит под вопрос само существование нашего мира, Брауксель решает обогатить на одну позицию свой ассортимент, или, как он еще выражается, демониарий: он распорядился начать конструкторские разработки задуманного Амзелем горящего *Perpetuum mobile*. Не настолько богат идеями этот мир, чтобы - пусть даже и в канун рокового звездного часа, что сулит нам конец света, - отказаться, понуря голову, от одного из самых прекрасных человеческих озарений; тем более, что и сам Амзель после знаменательного аутодафе за фольхертовским сараем явил нам пример стоической выдержки, когда принял участие в тушении огня, охватившего вышеупомянутый сарай в результате залета искр и последующего воспламенения.

Спустя несколько недель после публичного сожжения амзелевских запасов и последних птицеустрашающих моделей, после пожара, который, как увидим, зажег в смышленной головке Амзеля не один запальный шнур, породив в ней крохотное, но неугасимое пламя, вдова Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, и господин Антон Матерн, мельник из Никельсвальде, получили по почте в одинаковых казенных голубых конвертах письма, из которых явствовало, что в такой-то день к такому-то часу каждого из них в кабинете директора реальной гимназии Святого Иоанна ожидает для беседы директор департамента учебных заведений господин доктор Батке.

По все той же узкоколейке вдова Амзель и мельник Матерн - они сидели друг против друга, причем места им достались у окна, - отправились в город. У Долгосадских ворот они сели в трамвай и доехали до Подойникова моста. Поскольку прибыли они в город заблаговременно, оба успели уладить кое-какие дела. Ей нужно было зайти к "Хану и Лехелю", потом к "Хаубольду и Ланзеру"; ему, в связи с новой мельницей, надо было навестить строительную фирму "Прохнов" в Адебарском переулке. На Длинном рынке они снова встретились, выпили у Шпрингера по стаканчику, потом взяли - хотя вполне могли бы добраться и пешком - такси и прибыли на Мясницкий переулок слишком рано.

Несколько округляя время, скажем так: минут десять им пришлось посидеть в приемной доктора Размуса Батке, прежде чем сам он, в светло-серых ботинках и вообще одетый по-спортивному, весьма важный, хотя и без очков, показался на пороге. Вальяжным движением коротенькой холеной ручки он пригласил обоих в свой кабинет, а когда скромные сельские жители оробели при виде кожаных кресел, бодро воскликнул:

- Только без церемоний, прошу вас! Я искренне рад познакомиться с родителями двух столь многообещающих наших учеников.

Три стены книг, во всю четвертую - окно. Трубочный табак директора издавал английское благоухание. Шопенгауэр ярился между стеллажами, потому что Шопенгауэр... Графин с водой, стакан, чистилка для трубки на массивном, красного дерева, столе под зеленым сукном. Четыре руки на кожаных подлокотниках не знают, куда себя деть. Мельник Матерн повернулся к директору своим оттопыренным, а не плоским червячнослышащим ухом. Вдова Амзель, внимая уверенным разглагольствованиям директора, после каждого придаточного предложения кивает. В разговоре были затронуты, во-первых: экономическое положение на селе, то есть необходимость ожидаемого ввиду новых польских таможенных законов урегулирования рынка, а также проблемы сыроварен во всей Большой пойме Вислы. Во-вторых, Большая пойма вообще и как таковая, в особенности ее колышущиеся, повсюду колышущиеся, куда ни глянь, колышущиеся на ветру пшеничные нивы; преимущества эпского и зимнестойкого сибирского сортов; борьба с посевным куколом - "но в

целом благодатнейший край, да-да, житница..." И наконец, в-третьих, заключил доктор Размус Батке, два таких славных, таких способных, хотя и совершенно разными наклонностями ученика - маленькому Амзелью вообще все дается играючи, - два ученика, связанные столь тесной и столь положительной дружбой, - надо видеть, как трогательно защищает маленький Матерн своего товарища от подтруниваний, разумеется вполне беззлобных подтруниваний, некоторых одноклассников, - словом, два столь достойных всяческого поощрения ученика из-за каждодневных и длительных поездок по этой ужасной, допотопной, хотя в чем-то, быть может, даже весьма забавной узкоколейке, совершенно лишены возможности проявить себя в полную силу; поэтому он, директор заведения и, уж поверьте, стреляный гимназический воробей, перевидавший на своем веку множество самых разных приезжих учеников, предлагает еще до наступления каникул, а еще лучше - прямо со следующего понедельника перевести обоих мальчуганов в другую школу. В Конрадинуме, это гимназия в Лангфуре, директор которой, его старый друг, уже в курсе дела и согласен, имеется интернат, проще говоря - общежитие для учеников, в котором значительной части питомцев, то есть, проще говоря, воспитанников, за умеренную плату - гимназия пользуется финансовой поддержкой весьма богатого благотворительного фонда - обеспечивается питание и жилье; одним словом, оба будут там в надежных руках и прекрасно устроены, так что он, как директор заведения, всячески советует такую возможность не упускать.

Вот так уже в следующий понедельник Эдуард Амзель и Вальтер Матерн сменили зеленые бархатные шапочки гимназии Святого Иоанна на красные шапочки Конрадинума. Вместе со своими чемоданами при посредстве все той же узкоколейки они покинули устье Вислы, большое побережье, дамбы от горизонта до горизонта, наполеоновские тополя, рыбачьи коптильни, паром сыромятного Криве, новую мельницу на новых козлах, угрей между коровами и ивами, отца и мать, бедную Лорхен, грубых и тонких меннонитов, Фольхерта, Кабруна, Ликфетта, Момбера, Люрманна, Карвайзе, учителя Ольшевского, а также призрак старухи Матерн, который начал бродить по дому, потому что трупную воду после обмывания позабыли выплеснуть за порог крест-накрест.

Двадцать седьмая утренняя смена

Сыновья богатеев-крестьян и сыновья помещиков, сыновья слегка обнищавшей мелкопоместной знати из Западной Пруссии и сыновья кашубских кирпичных заводчиков, сын аптекаря из Нойтайха и сын священника из Хоенштайна, сын окружного советника из Штюблау и Хайни Кадлубек из Отрошкена, малыш Пробст из Шенварлинга и братья Дик из Ладекоппа, Боббе Элерс из Кватшина и Руди Кизау из Страшина, Вальдемар Бурау из Прангшина и Дирк Генрих фон Пельц-Штиловски из Кладау на реке Кладау; итак, сыновья нищего и дворянина, крестьянина и пастора, не совсем в одно время, но по большей части вскоре после Пасхи, стали питомцами интерната, что находился подле Конрадинума. Реальная гимназия, носившая такое название, в течение многих десятилетий при поддержке фонда имени Конрада оставалась частным учебным заведением, однако во времена, когда Эдуард Амзель и Вальтер Матерн стали конрадианцами, город уже помогал школе крупными денежными дотациями. Поэтому и назывался Конрадинум теперь городской гимназией. И только интернат все еще оставался не городским учреждением, а

был предметом частных забот и финансовых попечений Конрадийского фонда.

Спальный зал для шести-, пяти- и четвероклассников, называемый еще малым спальным залом, располагался на первом этаже и выглядывал окнами в школьный сад, туда, где рос крыжовник. Хотя бы один писун находился всегда. Им и воняло, а еще сушеными матрасными водорослями. Наши друзья спали рядом, кровать к кровати, под олеографией, изображавшей Крановые ворота, башню обсерватории и Длинный мост во время зимнего ледохода. Оба никогда или почти никогда не мочились в постель. Крещение для новичков - попытку намазать Амзелью зад сапожной ваксой - Вальтер Матерн пресек в два счета. На прогулочном дворе оба неизменно стояли под одним и тем же каштаном и держались особняком. Правда, малышу Пробсту и Хайни Кадлубеку, чей отец торговал углем, дозволялось присутствовать и слушать, как Вальтер Матерн с мрачным и глубокомысленным видом отмалчивался, а Эдуард Амзель тем временем изобретал новый, таинственный язык и осваивал с его помощью новый окружающий мир.

- Ыцитп гурков ен оннебосо.

Птицы вокруг не особенно.

- Йеборов в едорог отэ ондо, йеборов в енверед месвос еогурд.

Воробей в городе это одно, воробей в деревне совсем другое.

- Драудэ Лезма тировог торобоан.

Без усталости и без труда составлял он длинные и короткие предложения, слово за словом выворачивая их задом наперед, и даже научился довольно бегло говорить на этом новом языке, так сказать, с обратным местным акцентом, щедро пересыпая свою таинственную речь перевернутыми местными словечками. Вместо "мертвяк" он говорил "кявтрем", вместо "черепушка" - "акшупереч". Непроизносимый мягкий знак он попросту убирал, трудно выговариваемые сочетания согласных, все эти "встр", "дпр" и "льщ", о которые, если произносить их наоборот, язык сломаешь, он упрощал и сглаживал, говорил "сез" вместо "здесь", "етсащен" вместо "несчастье". Вальтер Матерн в общем и целом его понимал, даже давал иногда короткие, тоже перевернутые и в большинстве случаев безошибочные ответы типа: "Заметано - Онатемаз!" Был неизменно склонен к решительности и лаконизму: "Ад или тен?" Малыш Пробст столбенел от изумления, а Хайни Кадлубек, которого, конечно же, звали Кебулдак, уже делал первые успехи в новом наречии.

Множество изобретений и открытий, сродни Амзелеву языкотворчеству, свершилось вот так же, на школьных дворах нашей планеты, чтобы потом кануть в забвение и возродиться под конец на скамеечках городских парков, задуманных в пандан к школьным дворам, в детском бормотании старцев, которые подхватят и разовьют самые смелые дерзания отрочества. Когда Господь Бог еще ходил в школу, на небесном школьном дворе ему и его школьному другу, смышленому пострелу Черту, пришлось в голову сотворить мир; четвертого февраля сего года, как уверяют Браукселя научно-популярные разделы многих газет, этот мир может пойти прахом - тоже, наверно, на каком-нибудь школьном дворе кого-то осенило.

Кроме того, кое-что роднит школьные дворы с вольером курятника: гордая поступь находящегося при исполнении своего служебного долга петуха весьма напоминает гордую поступь надзирающего за учениками учителя. Петухи точно так же вышагивают, сложив руки за спиной, поворачиваются резко и вид имеют многозначительный.

Старший преподаватель Освальд Брунис - авторский коллектив вознамерился поставить ему памятник - делает сейчас, когда он несет дежурство на школьном дворе, прямо-таки образцово-показательную любезность автору

сравнения оно́го двора с вольером курятника, а именно: через каждые девять шагов он принимается мыском левого ботинка разгребать гравий школьного двора; больше того, он даже сгибает в колене свою учительскую ногу и так на некоторое время замирает - привычка не совсем бессмысленная, поскольку старший преподаватель Освальд Брунис постоянно кое-что ищет: не золото и не чье-то сердце, не счастье, не Бога и не славу - он ищет редкие камешки. Школьный двор, искрясь на солнце слюдой и кварцем, усыпан гравием сплошь.

Что же удивительного, если ученики по очереди, иногда, впрочем, и сразу по двое, то и дело подходят к своему наставнику, дабы предъявить, кто всерьез, а кто и подстрекаемый бесом всеобщей школьной потехи, самые заурядные камешки, нарытые ими в гравиевых куцах. Однако каждый камешек, даже самый распоследний серый голыш, старший преподаватель Освальд Брунис зажимает между большим и указательным пальцами левой руки, держит сперва против света, потом на свету, правой рукой извлекает из нагрудного кармашка своего торфяно-бурого, местами даже безупречно чистого сюртука привязанную на резинке лупу, привычным и точным движением определяет лупу на послушно оттягивающейся резинке между камешком и глазом, после чего, всецело полагаясь на надежность резинки и элегантно уронив лупу, как бы разрешая ей самой шмыгнуть обратно в нагрудный карман, взвешивает камешек на левой ладони и, раскрутив его сперва маленькими, а потом и рискованно-большими, до самого края ладони достигающими кругами, резким ударом свободной правой руки по тыльной стороне левой ладони зашвырывает его прочь.

- Красивый камешек, но ни к чему, - подытоживает Освальд Брунис результаты своих наблюдений, и той же рукой, что только что катала никчемный камешек на ладони, лезет в коричневый растрепанный кулек, который вообще всегда и в частности всякий раз, когда старший преподаватель Освальд Брунис появляется на этих страницах, торчит у него из кармана. Петляя магическими кругами, словно жрец, творящий молитву в храме, рука подносит извлеченный из коричневой бумаги мятлый леденец ко рту, где он сперва взвешивается на языке, потом смакуется, сосется, уменьшается в размерах, растекается сладким соком между коричневыми от табака зубами, перекладывается из-за щеки за щеку, постепенно превращаясь - покуда время перемены стремительно тает, а смятенные души школяров все больше съеживаются от страха, покуда воробьи ждут не дождутся, когда же эта перемена кончится, а сам учитель гордо расхаживает по школьному двору, шарит ногой в гравии и отбрасывает ненужные камешки - из полновесного мятного леденца в маленький прозрачный обсосок.

Маленькая перемена, большая перемена. Короткие игры, торопливые шепотки. Драки и победы, беды и обеды - а прежде всего, как помнится Брукселю, страх: вот сейчас звонок...

Пустые школьные дворы - воробьиное раздолье. Тысячу раз видано, в жизни и в кино: ветер гонит по меланхолическому гравию пустынного, такого гуманистического, такого прусского школьного двора промасленные обертки школьных бутербродов.

Школьный двор гимназии Конрадинум состоял из Малого, квадратного двора, укрытого сенью старых, растущих как попало каштанов, а по сути - небольшой и светлой каштановой рощи, и продолговатого, примыкающего к нему без всякого забора Большого двора, окаймленного юными, опирающимися на штакетины ограждения, педантично посаженными липами. Новоготический спортивный зал, новоготический писсуар и новоготическое, четырехэтажное,

увенчанное зачем-то колокольней без колоколов, темно-бордовое, старого кирпича, утопающее в зарослях плюща здание школы окаймляли Малый двор с трех сторон, укрывая его от ветров, что нещадно гоняли по Большому двору из восточного угла в западный столбы пыли; ибо здесь ветрам противостояли лишь низкорослый школьный сад, огороженный мелкоячеистой сеткой забора, и двухэтажное, но тоже, впрочем, новоготическое здание интерната. В ту пору, покуда еще не была разбита за южным фасадом спортивного зала современная, с гаревой дорожкой и газоном спортплощадка, Большой двор служил во время уроков гимнастики игровым полем. Упоминания заслуживает еще разве что солидный, метров пятнадцать в длину, навес, возвышавшийся на просмоленных деревянных столбах между молоденькими липами и школьным садом. Сюда, водруженные на попу, передним колесом вверх, ставились велосипеды. Маленькая школьная забава: стоило раскрутить переднее колесо, как мелкие камешки, застрявшие в шинах даже после недолгого проезда по гравию Большого двора, со свистом летели во все стороны, барабанили по листьям крыжовника за сетчатым забором школьного сада.

Кому хоть раз в жизни приходилось играть в футбол, ручной мяч или волейбол, бейсбол или даже просто лапту на усыпанной гравием площадке, тот потом долго еще, едва ступив на шуршащий гравий, будет вспоминать разодранные в кровь колени и все остальные ссадины, которые так плохо заживают под мелкими мокрыми струпьями, превращая все гравиевые спортплощадки в места массового кровопролития. Мало что еще на этом свете врезается в нашу память и нашу кожу столь же неизгладимо, как гравий.

Однако ему, гордому петуху на школьном дворе, вечно сосущему и причмокивающему Освальду Брунису - не забудем, ему будет воздвигнут здесь памятник, - ему, с лупой на резинке, с клейким кульком в клейком кармане, ему, тому, кто собирал камни и камешки, выискивая редкие, преимущественно искрящиеся и сверкающие экземпляры - кварц, полевой шпат, роговую обманку, - подбирал их с земли, разглядывал, выбрасывал или заботливо прятал, ему Большой школьный двор Конрадинума был вовсе не полем кровавых мучений, а неиссякаемым поприщем неутомимых исканий правой ногой через каждые девять шагов. Ибо Освальд Брунис, преподававший все или почти все предметы - географию и историю, немецкий и латынь, если очень надо, то и закон Божий, - был кем угодно, но только не тем типичным учителем гимнастики, каким его видит в самых страшных снах все школьное юношество: с черной мохнатой грудью, с черными волосатыми конечностями, с пронзительным свистком и ключами от кладовки на шее. Брунис никогда и никого не заставлял дрожать под турником, мучиться на параллельных брусьях, плакать, повиснув на гимнастическом канате. Ни разу не потребовал он от Амзеля совершить прыжок махом с переворотом или прогнувшись через нескончаемо длинного коня. Ни разу по его наущению ни сам Амзель, ни его пухлые колени не обдирались о кусачий гравий.

Мужчина лет пятидесяти, со сладкими - буквально каждый волосок липнет к волоску - от бесконечных мятных леденцов и опаленными сигарой усиками. На круглой макушке бобрик седых волос, в котором нередко - иной раз до самого обеда - торчат репы, подброшенные чьей-то шкодливой рукой. Лицо, испещренное морщинками ухмылок, хихиканья и смеха. Вьющиеся кусты волос из обеих ушей. В мохнатых, растрепанных бровях притаился Эйхендорф. Водяная мельница, веселые подмастерья и фантастическая ночь где-то вокруг трепетных крыльев носа. И только в уголках губ и еще, пожалуй, чуть-чуть над крыльями носа угадываются черты других сладкоежек: Гейне, "Зимняя сказка", и Раабе, "Балбес". При этом всеми любим и никем не принимаем

всерьез. Холостяк в бисмарковской шляпе, классный наставник шестого начального, где учатся Вальтер Матерн и Эдуард Амзель, два друга с устья Вислы. Оба уже почти не пахнут коровником, скисшим молоком и копченой рыбой, да и гарь от пожара, ввевшаяся в их волосы и одежду после знаменательного публичного сожжения за фольхертовским сараем, уже вся выветрилась.

Двадцать восьмая утренняя смена

Минута в минуту прошел пересменок, и это несмотря на деловые неурядицы - брюссельские аграрные соглашения доставят фирме "Брауксель и Ко" немалые трудности со сбытом, - так что пора обратно на усыпанный гравием школьный двор. Похоже, новая школа сулила нашим друзьям немало радостей. Едва их перевели из гимназии Святого Иоанна в Конрадинум, едва они обжились в затхлом, провонявшем скверными мальчишками интернате - кто не слыхал на своем веку интернатских историй? - едва успел гравий школьного двора врезаться в их память и кожу, как вдруг объявили: через неделю шестой начальный отправляется на полмесяца в Заскошин. Под надзором старшего преподавателя Бруниса и учителя гимнастики, старшего преподавателя Малленбрандта.

Заскошин! Какое ласковое слово!

Лесная школа находилась в Заскошинском бору. Ближайшая деревня называлась Майстерсвальде. Туда - через Шюдделькау, Страшин-Прангшин и Грос-Салау - класс в сопровождении обоих педагогов и был доставлен автобусом. Деревня застраивалась давно, и не вдоль улицы, а как придется. Песчаная рыночная площадь, достаточно просторная для ярмарки скота. О ней же напоминали деревянные колья с проржавленными железными кольцами для привязи. Сверкающие лужи при малейшем порыве ветра подергивались рябью: незадолго до прибытия автобуса прошел ливень. Но никаких коровьих лепешек, конских яблок, зато множество воробьиных сходок, постоянно меняющих месторасположение и состав участников, чей щебет стократ усилился, едва Амзель вышел из автобуса. Приземистые деревенские лачуги, частично под соломенными крышами, силились разглядеть рыночную площадь своими подслеповатыми оконцами. Была тут и двухэтажная неоштукатуренная новостройка, торговый дом Хирша. Новенькие, прямо с завода, плуги, бороны, сеноворошилки мечтали о покупателе. Дышла, уткнувшиеся в небо. Напротив, чуть наискосок, красно-кирпичное здание фабрики, вымершее, с забитыми окнами по всему растянувшемуся фасаду. Лишь в конце октября урожай сахарной свеклы вернет в этот заколоченный гроб жизнь, вонь и заработки. Неизбежный филиал сберкассы города Данцига, две церкви, закупочный молочный пункт, цветное пятно - почтовый ящик. А перед витриной парикмахера, чтобы не сказать цирюльника, еще одно цветное пятно - медово-желтый, кренящийся на ветру медный диск играл переливами света при малейшей перемене облачности. Сирая, холодная деревушка, почти вовсе без деревьев.

Майстерсвальде, как и все поселения к югу от города, относилось к округу Верхний Данциг. Скучная, унылая земля по сравнению с тучными, илистыми почвами долины Вислы. Свекла, картофель, польские неостистые овсы, простая стекловидная рожь. И на каждом шагу камень. Крестьяне, бродившие по полям, то и дело нагибались, чтобы подобрать с земли один из несметного полчища многих и в слепой ярости зашвырнуть куда подальше - то бишь

на поле соседа. Та же картина и по воскресеньям: крестьяне в черных картузах с поблескивающими лаковыми козырьками бредут через свекольное поле, в левой руке зонт, а правой, наклонившись, подбирают и швыряют куда попало - и камни падают, падают дождем; каменные воробьи, супротив которых никто, даже Эдуард Амзель, еще не придумал пугала.

Итак, Майстерсвальде: согбенные черные сюртуки, гневные острия зонтов торчком в небо, подбор - швырок, подбор - швырок, и даже объяснение, откуда эта каменная напасть: дескать, это черт в наказание за неисполненную клятву отомстил крестьянам тем, что всю ночь летал над землей, изрыгая души проклятых, что комом лежат у него в желудке, на окрестные луга и пашни. А поутру оказалось, что души превратились в камни, а поскольку они проклятые, то крестьянам теперь никуда от них не деться - будут швырять и гнуться до скончания своего горбатого века.

Отсюда классу предстояло вольным строем, со старшим преподавателем Брунисом во главе, со старшим преподавателем Малленбрандтом в арьергарде, пройти пешком три километра сперва холмистым полем, на котором по обе стороны шоссе среди обильных каменных посевов робко проглядывала малорослая рожь, потом через начинающийся Заскошинский бор, покуда между стволами буков не забрезжили беленые кирпичные стены лесной школы.

Жидковато, что и говорить! Брауксель, чье перо выводит эти строки, органически не способен описывать безлюдные ландшафты. Не то чтобы ему недоставало вдохновения, нет, но едва он начинает прорисовывать чуть волнистый склон холма, то есть его сочную зелень, и многочисленные штифтеровские оттенки холмов за ним - вплоть до зыбкой серо-голубой дымки у самого горизонта, а затем помещает на еще не оформленный передний план неизбежные камни, усеявшие поля в окрестностях Майстерсвальде, и пресловутого черта, а также укрепляющие передний план кустарники, то есть перечисляет их, говорит: бузина, орешник, дрок гладколистный, сосна горная - словом, кусты, мелкие и крупные, тощие и круглые, по склону вверх и по склону вниз, кусты сухие и с колючками, кусты-шатуны и кусты-шептуны - ибо в этих местах всегда ветрено, - едва он за это принимается, как его тут же подмывает вдохнуть во всю эту штифтеровскую глухомань немножко жизни. И Брауксель говорит: а за третьим кустом, если считать слева, на три пальца выше вон того лоскута кормовой свеклы, да нет, не под лещиной - ох уж эта лещина, все заполонит! - вон там, там, да вон же, чуть пониже того красивого, большого, неподъемного, мшистого валуна, словом, за третьим кустом слева посреди этого безлюдного ландшафта притаился человек.

Нет, не сеятель. И не столь излюбленный в масляной живописи землепашец. Мужчина лет сорока пяти. Бледный смуглый черный отчаянный прячется в кустах. Нос крючком, уши торчком, зубов нет. Глянь-ка, да у этого человека ангустри, перстень на мизинце, и в последующих утренних сменах, покуда школьники будут играть в лапту, а Брунис сосать свои мятные леденцы, ему будет уделено немало внимания, поскольку он носит при себе узелок. А в узелке что? И кто этот человек?

Это цыган Биданденгеро, и узелок у него не простой, а говорящий.

Двадцать девятая утренняя смена

Излюбленным видом спорта в те школьные годы была лапта. Уже на усеянном гравием школьном дворе Конрадинума свеча, запущенная столь мастерс-

ким ударом, что, покуда мяч сперва зло вгрызался в небо, а потом как бы нехотя пикировал вниз, игроки бьющей команды, рассыпаясь веером, успевали без помех добежать до своих "меток" и вернуться, набрав очки, - такая свеча считалась геройством, по сравнению с которым пятьдесят пять "солнышек" или семнадцать отжимов на турнике были так, ерундой. Ну а уж в заскошинской лесной школе в лапту играли с утра до вечера, для проформы перемежая это занятие двумя-тремя уроками в день. На игру эту Вальтер Матерн, его друг Эдуард Амзель и старший преподаватель Малленбрандт смотрели с трех совершенно разных точек зрения.

Для Малленбрандта лапта была мировоззрением. Вальтер Матерн был мастером свечи. Он запускал в небо свечи и ловил их играючи, успевая тотчас же выбросить мяч из ловушки своему партнеру, что приносило команде дополнительные очки.

Что до Эдуарда Амзеля, то он колобком мчался по игорному полю как сквозь чистилище. Толстенький коротконожка, он являл собою идеальную мишень для ответных бросков противника. Он был самым уязвимым местом в своей команде. За ним устраивали настоящую охоту. Его загоняли в квадрат по четверо и совершали над ним разнузданные, почти людоедские пляски с мячом. На нем опробовались самые изощренные финты, покуда он с визгом не валился в траву, всем телом предошущая шмякающий удар мяча задолго до самого удара.

Мяч приносил Амзелю спасение лишь тогда, когда друг Вальтер Матерн запускал его свечкой; Вальтер Матерн, собственно, и старался бить одни только свечи, чтобы дать Амзелю возможность под прикрытием взлетевшего в небо мяча успеть пересечь игровое поле. Однако, увы, далеко не каждая его свеча столь надолго зависала в воздухе, так что уже после нескольких дней такого в буквальном смысле слова игривого мировосприятия на веснушчатом теле Амзеля замерцали многочисленные синие "фонари", которые потом долго не хотели гаснуть.

Уже и в ту пору - пересменок: после относительно мягкого детства, проведенного на обоих берегах Вислы, начались, теперь уже вдали от Вислы, страдания Амзеля. И они еще долго не кончатся. Ибо старший преподаватель Малленбрандт считался крупным специалистом и даже написал то ли книгу, то ли главу в книге о спортивно-состязательных играх немецких школьников. В ней он кратко и исчерпывающе высказал свое понимание лапты. Во введении отметил, что национальное своеобразие лапты как истинно народной игры особенно наглядно выявляется в сопоставлении с безликим, внациональным футболом. Затем, параграф за параграфом, изложил правила. Одинарный свисток означает: мяч вне игры. Засчитанное попадание - когда атакующих "запятнали" - фиксируется двойным свистком арбитра. Бежать с мячом запрещается. Вообще мячи: мячи бывают отвесные, так называемые "свечи", дальние, плассированные с угла, ложные свечи, катыши, ползуны, рикошеты, отскоки, "пятнающие" попадания и в три передачи. Подача мячей осуществляется ударом биты и бывает, в зависимости от типа производимого удара, для отвесных и дальних мячей - снизу или боковая, для плассированных мячей - от локтя, а также двумя руками, когда мяч подбрасывается на высоту плеча. Отвесные мячи, или так называемые "свечи", поучал Малленбрандт, ловятся игроком так, чтобы рука с ловушкой и пойманный мяч образовывали одну линию с уровнем глаз ловящего. Кроме того, - и это новшество прославило старшего преподавателя по всем городам и весям - по его предложению расстояние, которое игрокам следует пробегать до "меток", было с пяти метров увеличено до пятидесяти пяти. Это ужесточе-

ние правил игры - Амзелю довелось в буквальном смысле прочувствовать его на собственной шкуре - было воспринято почти всеми гимназиями на севере и востоке Германии. Малленбрандт был ярым врагом футбола, и многие считали его истовым католиком. На шее, а точнее, на волосатой груди у него болтался металлический свисток. Одинарный свисток означал: мяч вне игры. Двойной свисток означал: только что ученика Эдуарда Амзеля "запятнали" мячом, попадание засчитывается. А вот свечи, которые Вальтер Матерн запускать, стараясь спасти своего друга, Малленбрандт частенько не засчитывал: "Заступ!"

Но зато следующая свеча в порядке. И за ней еще одна - тоже. А вот следующая сорвалась - подающий чуть накренил корпус, и мяч, отклонившись от игрового поля, со свистом и треском ныряет в чащу леса. По свистку Малленбрандта - мяч вне игры! - Вальтер Матерн мчится к забору, перемахивает его одним прыжком, ищет во мху и под кустами на опушке, как вдруг мяч сам выпрыгивает к нему из орешника.

Мяч пойман, быстрый взгляд: из ветвей и листвы торчат голова и плечи мужчины. На ухе, на левом, покачивается медная серьга, потому что мужчина смеется, беззвучно. Смуглый бледный загорелый. Ни одного зуба во рту. Биданденгеро - это и означает "беззубый". А под мышкой - говорящий узелок. Вальтер Матерн, держа мяч обеими руками и пятясь, выбирается из леса. Никому, даже Амзелю, он не расскажет об этом бесшумно смеющемся незнакомце в кустах. Уже следующим утром, и после обеда тоже, Вальтер Матерн нарочно смазывает по одной подаче, запуская мяч в лес. И, не дожидаясь свистка Малленбрандта, мчится через все поле и перемахивает через забор. Но ни один куст, ни одно деревце не выбрасывает ему мяч обратно. Один мяч он после долгих поисков нашел под папоротником, а второй так и запропастился - не иначе лесные муравьи в муравейник затащили.

Тридцатая утренняя смена

Усердные штрихи карандаша и воробы; штриховать и оставлять "воздух"; плодиться и взрываться.

Усердие пчел, муравьев, усердие леггорнских кур; усердные саксонцы и усердные прачки.

Утренние смены, любовные письма, матерниады: Брауксель и его соавторы тоже брали уроки - у кое-кого, кто всю жизнь не покладал рук, барабана по лакированной жести.

А что же восемь планет? Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн, Уран, к которым, как зловеще намекают астрологические календари, может присоединиться незримая луна Лилит? Неужто они двадцать тысяч лет усердно двигались по своим орбитам лишь затем, чтобы послезавтра войти в роковое неблагоприятное противостояние в знаке Водолея?

Не все свечи получались как надо. Поэтому подачи, в том числе и якобы "срезавшиеся", а на самом деле запущенные "в молоко" нарочно, надо было усердно тренировать.

Открытая деревянная веранда, так называемый "зал отдыха", замыкала лужайку с севера. Сорок пять деревянных кушеток, сорок пять аккуратно сложенных в изножьях кушеток грубошерстных, кисло пахнущих одеял поджидали шестиклассников для полуторачасового послеобеденного отдыха. А уж после мертвого часа неподалеку от веранды, на восточной стороне лужайки Вальтер Матерн тренировал подачу.

Здание лесной школы, зал отдыха, игровое поле и оббегающую их от угла к углу сетчатую изгородь со всех сторон обступал густой, недвижимый или шумный, Заскошинский бор - смешанный лес, где водились кабаны, барсуки, гадюки и где - прямо через лес - проходила государственная граница. Ибо лесной массив начинался на польской земле, первыми кустами и соснами прорастая на песчаных почвах Тухлерской пустоши, уже слегка перемежаясь на волнистых холмах Кошнадерии березой и буком, упрямо тянулся на север, к более мягкому приморскому климату: на валунных мергелях произрастал смешанным лесом, а заканчивался на побережье светлыми лиственными рощами.

Иногда через границу переходили цыгане, которых здесь считали безобидными. Они кормились дикими кроликами, ежами и случайными приработками. Лесную школу они снабжали белыми грибами, лисичками и рыжиками. Лесник прибегал к их помощи, когда неподалеку от лесных дорог высоко на стволах надо было уничтожить осинные гнезда - по дорогам шли обозы с лесом, и осы пугали лошадей. Цыгане называли себя "гакко", обращаясь друг к другу, говорили "мора!", а местные, разумеется, кликали их "цыганами" или еще "смугляками".

И вот однажды некий гакко бросил шестикласснику мяч, залетевший в чащу леса после сорвавшейся подачи. Этот мора беззвучно смеялся.

Теперь шестиклассник, прежде тренировавший лишь правильные отвесные подачи, с тем же усердием тренировал подачи неправильные.

Шестикласснику даже удалось дважды так сорвать подачу, что мяч летел в то же самое место, но никто больше не выбросил ему мяч обратно.

Так где же Вальтер Матерн тренировал свои подачи - правильные и неправильные? За верандой для отдыха, к востоку, был расположен плавательный бассейн, примерно семь на семь, в котором давно никто не купался - бассейн засорился, протекал, словом, никуда не годился; правда, лужи дождевой воды застаивались и испарялась в его растрескавшемся бетонном ложе. И хотя школьники в бассейне не купались, посетители, и в избытке, здесь были: лягушки, прохладные и шустрые, величиной с мятный леденец, усердно прыгали повсюду, словно у них тут тренировка; большие одышливые жабы попадались редко, зато лягушек было хоть пруд пруди - целые конгрессы и школьные дворы лягушек, лягушачьи балетные ансамбли и лягушачьи ассамблеи; лягушки, чтобы надувать их через соломинку, лягушки, чтобы совать их за воротник, чтобы давить и чтобы в ботинки подкладывать; лягушки, чтобы подбрасывать их в почему-то всегда слегка подгорелый горох с салом и в чужие кровати, в чернильницу и в конверт под видом письма, и, наконец, лягушки, чтобы тренировать на них подачу.

Каждый день Вальтер Матерн тренировался в сухом бассейне. Тем паче, что запас аккуратных, гладких, одна к одной, лягушек был неисчерпаем. Тридцать подач - и тридцать серо-голубых красавиц прощались со своими молодыми земноводными жизнями. Черно-коричневых бывало обычно только двадцать семь, ими Вальтер Матерн завершал неутомимую череду своих упражнений. Он, впрочем, вовсе не стремился к тому, чтобы запустить, скажем, серо-голубую лягушку как можно выше - выше вершин шумного или безмолвного Заскошинского бора. Но и не к тому, чтобы любым местом биты по лягушке болотной обыкновенной просто попасть. Он ведь жаждал усовершенствоваться не в дальних и не в коварных плассированных мячах - в дальних, к тому же, Хайни Кадлубек все равно был вне конкуренции, - нет, Вальтер Матерн тренировал на разноцветных лягушках только такие удары, когда бита в строгом соответствии с рекомендациями виртуозов описывает дугу сни-

зу вверх, что и сулит образцовую, едва ли не строго вертикальную и почти не подверженную порывам ветра свечу. Если бы вместо переливчатых лягушек бита на конце этой дуги встречала упругий, шершаво-коричневый, лишь по линиям швов гладкий и блестящий кожаный мяч, Вальтеру Матерну за каких-нибудь полчаса удавались бы дюжина превосходных и штук пятнадцать-шестнадцать вполне приличных свечей. Справедливости ради следует также сказать, что, невзирая на усердное и успешное освоение удара свечой, число лягушек в обезвоженном бассейне нисколько не убавлялось: они продолжали бодро, хотя и с неодинаковой резвостью, тренировать прыжки в высоту и длину прямо под ногами Вальтера Матерна, который стоял среди них, словно лягушачья смерть. То ли они и вправду этого не понимали, то ли были до такой степени преисполнены сознания собственной многочисленности, - в этом смысле они отчасти сродни воробьям, - что никакой лягушачьей паники в бассейне не наблюдалось.

В сырую погоду на дне смертоносного бассейна появлялись также тритоны, пятнистые саламандры и банальные ящерицы. Но этим юрким созданиям бита не угрожала, ибо к тому времени у шестиклассников завелась игра, стоившая тритонам и саламандрам не жизнью, а только хвостов.

Итак, испытание мужества: дергающиеся, извивающиеся во все стороны кончики хвостов, которые тритоны, саламандры и ящерицы отбрасывают, когда их хватаешь, - впрочем, хвосты можно и отрубить коротким ударом пальца, - вот эти живые, трепещущие отростки нужно проглотить, и именно в подвижном состоянии. Лучше, конечно, проглотить не один, а несколько прыгающих по бетону хвостов. Кто отважится на такое, тот герой. При этом полагается заглотать от трех до пяти хвостов, не запивая их водой и не заедая хлебом. Но и это еще не все: тому, кто уже удерживает в своем нутре три, а то и пять неутомимо бьющихся хвостов ящериц, тритонов или саламандр, запрещено меняться в лице. Оказывается, Амзель может! Загнанный, замордованный лаптой Амзель распознает в заглатывании тритонных хвостов спасительную возможность и спешит за нее ухватиться: он не только внедряет в свое пухлое, коротконогое тело сразу семь вертких хвостиков, он, оказывается, в состоянии - если только ему пообещают освободить его от лапты после обеда и отправить вместо этого с кухонным нарядом чистить картошку - пройти дополнительное испытание: проглотив семь хвостов и продержав их в себе минуту, он может, не засовывая пальцев в горло, одною только силой воли, а главным образом от безумного страха перед беспощадным кожаным мячом, изрыгнуть все семь хвостов обратно - и гляди-ка, они все еще дергаются, уже, правда, не так сильно, потому что в слизи им трудно, но дергаются на бетонном дне бассейна среди прыгающих лягушек, которых не стало меньше, хотя незадолго до Амзелевого испытания мужества и последующего дополнительного испытания отпрыжкой Вальтер Матерн усердно тренировал здесь удары свечой.

Одноклассники под сильным впечатлением. Снова и снова пересчитывают они семь воскресших хвостов, хлопают Амзеля по округлой веснушчатой спине и обещают, если Малленбрандт согласится, отказаться сегодня от своей традиционной мишени. Если же Малленбрандт почему-либо станет возражать против его кухонного дежурства, они все равно больно бить не будут, только сделают вид...

Множество лягушек слушают этот странный торг. Семь проглоченных и снова выплюнутых хвостов потихоньку замирают. Вальтер Матерн, опершись на свою биту, стоит у сетчатого забора и долго смотрит в кущи возвышающегося кругом Заскошинского бора. Что он там потерял?

Тридцать первая утренняя смена

Так что нам светит? Завтра ввиду множества звезд, усеявших небо над нами мерцающим месивом, Брауксель вместе с утренней сменой уйдет под землю и там, в архиве, на глубине восьмисот пятидесяти метров - когда-то в этой штольне хранились заряды взрывников - завершит свой труд: ибо главное в работе летописца - не терять голову.

Первая неделя каникул в заскошинской лесной школе - с яростными сражениями в лапту, прогулками строем и весьма снисходительными уроками - в воспоминаниях Браукселя уже подходит к концу. Планомерный расход лягушек и нерегулярное, ибо зависимое от погоды, заглатывание тритонных хвостов - с одной стороны; вечерние сборы с пением у костра - спина мерзнет, лицо горит - с другой. Кто-то разодрал коленку. У двоих горло заболело. Сперва у малыша Пробста вскочил ячмень на глазу, потом ячмень вскочил у Йохена Витульски. Пропала авторучка, то ли украли, то ли Хорст Белау сам ее потерял, - долгое разбирательство. Боббе Элерсу, отличному "метчику" в лапте, приходится раньше срока уезжать домой в Кватшин, у него серьезно заболела мама. В то время как один из братьев, Дик, тот, что в интернате постоянно мочился в постель, здесь, в Заскошине, торжественно предъявляет сухие простыни, его брат, прежде из сухих, начинает регулярно орошать не только кровать ночью, но и кушетку на веранде в мертвый час. Чуткий, вполглаза послеобеденный сон. Сквозь полудрему, непривычно тихое без игроков, зеленеет поле для лапты. У Амзеля во сне выступили на лбу крупные жемчужины пота. Медленным взглядом буйволенька ощупывает Вальтер Матерн далекую сетчатую изгородь и лес, стоящий за нею стеной. Ничего. У кого терпения хватит, тот увидит, как вырастают холмы на игровом поле: кроты ведь работают без обеда. На обед был горох с салом - почему-то всегда слегка подгорелый. На ужин вроде бы обещали жареные личички, а потом манный пудинг с черничным соусом, но дадут совсем другое. А после ужина все сядут писать домой открытки.

Никакого костра сегодня. Кто-то играет в "братец не сердись", кто-то в "орел или решку". В столовой сухой деловитый перестук настольного тенниса тщетно пытается заглушить рокот ночного черного леса. В своем кабинете старший преподаватель Брунис, досасывая мятный леденец, разбирает коллекционную добычу сегодняшнего дня: здешние места богаты биотитом и москвитом - они замечательно друг о дружку трутся. Слюда искрится, а гнейсы хрустят. Когда Вальтер Матерн скрежещет зубами, никакая слюда не искрится.

Он сидит на краю черного ночного поля, на бетонном валике бедного водой, но богатого живностью лягушатника. Рядом с ним Амзель.

- Нов усел в немет яакак.

Вальтер Матерн устался в близкую, все ближе подступающую стену Заскошинского бора. Амзель потирает места, по которым сегодня прошелся мяч. Так за каким точно кустом? А смеется совсем неслышно? Правда, что ли, узелок? Правда, что ли, Биданденгеро?

Нет, это не слюда; это зубы Вальтера Матерна слева направо. Ему отвечают одышливые жабы. Кряхтит и постанывает лес со всеми своими птицами. И не течет, не впадает в море Висла.

Тридцать вторая утренняя смена

Перо Браукселя выводит эти строки под землей. Ух и темень же в немецком лесу! Призраки слоняются. Лешие колобродят. Ух и темень же в польском лесу! Цыгане-барахольщики шастают. Злодей Асмодей! Или Бенг Дирах Беельзевуб, Вельзевул по-нашему, а для крестьян так и просто Чертяка. Пальцы горничной, которая была когда-то слишком любопытна, теперь вот превратились в мертвецкие свечи, в блуждающие болотные огоньки - кому свет, тому и смерть. Братишка Бальдур тяжело ступает по мху: одиннадцать на одиннадцать считай сорок девять. Ух, а уж в немецко-польском лесу и вообще темень тьмушая. Нечистый гуляет, Бальдур летает, болотные огни сплошняком, муравьев жуть сколько, деревья сцепились насмерть, цыгане-бродяги шастают: Леопольдова цыпка, и цыпка-мама, и цыпка-сестра, и сестренкина цыпка, а еще цыпка Гиты и цыпка Гашпара, и у всех, у всех огоньки в руках, спичками чирк-чирк, покуда не нашлась, вот она, чистенькая Машари показывает плотницкому сыну, где ей из гусино-белой посуды молоко... Молоко густое и почти зеленое, потому что смолистое, а вокруг уже сползаются змеи, одиннадцать раз по одиннадцать, считай сорок девять.

Через папоротники граница проходит на воздусех. Тут и там красно-белые мухоморы сражаются с черно-красно-белыми муравьями. Сестренка! Сестренка! Это кто там потерял сестру? Желуди плюхаются в мох. Кеттерле кричит, потому что углядела искорку: но это гнейс лежит рядом с гранитом и об него трется. Слюда крошится. Сланец хрустит. Да кто их услышит?

Услышит Ромно, человек за кустом. Биданденгеро, беззубый, но слышит отлично: желуди сыплются, сланец шуршит, шнурованный ботинок его поддел, узелок цыц, ботинок все ближе, грибы клякнут, змея, скользя, уползает в следующее столетие, черничины лопаются, папоротники дрожат - перед кем? Наконец свет, как в замочную скважину, проникает в лес, спускаясь сверху вниз, словно по ступенькам. Кеттерле - это сорока, а вот и пор, ее перо, падает. Шнурованные башмаки топчут лес как хотят. Да он еще и хихикает, учило-мучило-зубрило - Брунис! Освальд Брунис! - хихикает, потому что они трутся, пока совсем не искрошатся: искристо-сланцево-зернистые, прожильчато-чешуйчатые - двуслюдяные гнейсы, кварц и полевой шпат. Редкость, большая редкость, бормочет он себе под нос, выставляет вперед шнурованный ботинок, вытаскивает лупу на резинке и тихо хихикает из-под своей бисмарковской шляпы.

А еще он подбирает прекрасный, изумительный осколок искристого розового гранита, вертит его перед глазами под густыми кронами леса, подставляя под редкие лучи по ступенькам спустившегося солнца, покуда все блески-зеркальца не скажут ему: пи-и-и! Этот камень он не выбрасывает, держит на свету, шепчет свои заклинания и не оборачивается. Потом куда-то уходит, все еще что-то бормоча. Подставляет свой искристый гранит под следующий, и еще один, и еще вот этот солнечный зайчик, чтобы тысячи крохотных зеркалец снова и снова пискнули ему свое "пи-и-и!" - каждое зеркальце по очереди и лишь немногие хором. Вот его ботинок ступает совсем рядом с кустом. За кустом сидит беззубый, Биданденгеро, сидит тихо, как мышка. И в узелке - цыц! - тихо. Ромно больше не сорока. И пор, ее перо, больше не падает. Потому что кричало-долбило-зубрило, учило, Освальд Брунис, совсем рядом.

Где-то в глухой чаще он радостно смеется под своей шляпой, ибо он нашел в немецко-польском Заскошинском бору, в самых его дебрях, чрезвычай-

но редкий камень - красно-розовый искристый гранит. Но поскольку тысячи маленьких зеркал никак не хотят прекратить свое многоголосое "пи-и-и!", у старшего преподавателя Освальда Бруниса делается сухо и горько во рту. Надо набрать хвороста и еловых шишек. А из трех больших камней, которые, кстати, и искрятся неважно, надо соорудить очаг. Чиркалки-спички из шведской коробки пусть покажут свои пламенные язычки, именно здесь, в самой глухой глуши дремучего леса, чтобы тотчас же снова крикнула кеттерле и - пор - потеряла свое перо.

А у старшего преподавателя в котомке отыскивается сковорода. Черная, промасленная, усеянная искристыми крошками, потому что в котомке он носит не только сковороду, но и искристые слюдяки, и искристый гранит, и даже редкостные двуслойные гнейсы. Но кроме сковороды и искристых камешков котомка учителя таит в себе, оказывается, множество коричневых и голубых бумажных пакетов и кульков разного объема и веса. А вдобавок бутылку без этикетки и круглую жестянку с завинчивающейся крышкой. Сухо потрескивают язычки пламени. Шипит и булькает смола. Прыгают на сковороде искристые крошки. Сковорода пугается, когда ее поливают из бутылки. Пламя вскидывается между тремя камнями очага. Шесть кофейных ложечек с верхом из жестянки. На глаз сыпануть из большого голубого пакета и из маленького коричневого кулька. Теперь один черенок ложки, но с верхом, из маленького голубого, одна щепотка из маленького коричневого. Потом мерно помешивать слева направо, а левой рукой в это же время посыпать кое-чем из маленькой баночки с дырочками. Теперь справа налево, а сорока тем временем снова, а по ту сторону границы все еще ищут сестренку, хотя ветер не разносит.

А Брунис становится на свои учительские колени и дует, пока костер не разгорится повеселее. И мешать надо, пока каша не начнет закипать и медленно, сонно густеть. Своим учительским носом с пышными волосяными метелками из каждой ноздри он водит над дымящейся, булькающей посудиною: пар капельками оседает на его подпаленных усах, а капельки, покуда он помешивает свое варево, медленно застывают, превращаясь в твердые прозрачные бусины. Со всех сторон сползаются муравьи. Густой чад нехотя стелется по мху, застревает в папоротнике. Под косыми лучами переменчивого лесного солнца большая куча искристых камней - кто бы это мог их навалить? - наперебой вопит на разные голоса: пи-и-и! пи-и-и! пи-и-и! Каша над пламенем уже подгорает, но по рецепту она и должна подгорать. Неможко загара ей не повредит. Теперь раскладывается и слегка намазывается маслом пергаментная бумага. Наконец, руки берут сковороду: вязкое, ленивое тесто, коричневое и пузырчатое, растекается, словно лава, по пергаментной бумаге, тотчас же покрываясь стеклянистой корочкой, даже бороздками от внезапного холода, и темнеет. Торопливо, пока не застыла, нож в руке старшего преподавателя разделяет лепешку на квадратики со среднюю карамельку величиной; ибо снадобье, над которым старший преподаватель Освальд Брунис колдовал в самых глухих дебрях Заскошинского бора где-то между криками "сестренка!" и стрекотом сороки, есть не что иное, как мятные леденцы.

А потому что ему захотелось сладенького! Потому что его запас сладостей исчерпался. Потому что его котомка всегда полным-полна пакетиками, кулками и коробочками. Потому что в пакетиках и кулках, коробочках и в бутылке у него всегда наготове мята и сахар, имбирь, анис и кислый аммоний, пиво и мед, перец и баранье сало. Потому что он из крохотной коробочки - это его фирменный секрет! - посыпает остывающую леденцовую массу

толченой гвоздикой: теперь благоухают лес и грибы, черника, мох и пышная многолетняя хвоя; папоротники и смолы силятся заглушить этот аромат - да где там, сдаются. Муравьи сбегаются как безумные. Змеи во мху покрываются карамелевой глазурью. Сорока кричит иначе: пор - ее перья - склеились. Как теперь искать сестренку? На сладкой или на кислой тропинке? И кто там плачет в кустах и хлюпает носом, потому что весь подгорелый чад шел прямо на него? А узелок не иначе маку объелся, коли был тише воды, ниже травы, когда учитель - видать, у него вместо ушей жернова - черенком ложки с жутким скрежетом принялся соскабливать со сковороды прилипшие остатки карамели.

Те из леденцовых крошек, что не упали в мох и не запрыгнули в расщелины между камнями, старший преподаватель Освальд Брунис, собрав в пригоршню, отправляет под свои и без того сладкие усики: рассасывает, причмокивает, смакует. Сидя возле сникшего, устало долизывающего золу костерка, он липкими пальцами, то и дело давя по пути отовсюду лезущих муравьев, ломает теперь уже твердую, стеклянно-коричневую лепешку, что лежит на промасленной пергаментной бумаге, примерно на пятьдесят заранее намеченных квадратиков. Этот леденцовый лом вместе с застывшими в нем, как в янтаре, муравьями он сыпает в большой голубой пакет, где до варки карамели у него был сахар. Теперь все - сковорода, смятые пакеты и кульки, пакет с пополненным запасом сладостей, жестянка с крышкой, пустая бутылка, а также крошечная коробочка с толченой гвоздикой отправляется обратно в котомку, туда, где уже сложены искристые камушки. А хозяин котомки уже на ногах и держит покрытую коричневой карамелевой корочкой ложку в своем учительском рту. Вот он уже шагает по мху в своих шнурованных башмаках и бисмарковской шляпе. После себя он оставляет только промасленную бумагу и мелкие крошки леденцов. А вон уже и ученики - галдя и мелькая между разрозненными стволами рощи, идут напролом по черничнику. Малыш Пробст плачет - он напоролся на гнездо лесных ос. Шесть его ужалили. Теперь четверо одноклассников его несут. Освальд Брунис приветствует своего коллегу, старшего преподавателя Малленбрандта.

Когда класс ушел, удалился, оставив после себя только эхо, дальние крики, смех, строгие голоса учителей-мучителей, три раза прокричала сорока. Пор - снова упало ее перо. Тогда Биданденгеро вылез из своего куста. И остальные гакко - Гашпари, Гита и Леопольд - выбрались из кустов, соскользнули с деревьев. Около промасленной бумаги, служившей прокладкой для карамелевой лепешки, они встретились. Бумага была вся черная от муравьев и двигалась по направлению к Польше. И цыгане решили последовать примеру муравьев: бесшумно ступая по мху, стремительно раздвигая папоротники, они поспешили в южную сторону. Последним, мелькая меж стволов и уменьшаясь в размерах, шел Биданденгеро. И тихое хныканье - словно узелок у него за спиной, этот кулек с младенцем, эта голодная беззубая кроха, сестренка, словно она плакала, - он тоже унес с собой.

Но граница была недалеко и охранялась не слишком строго. А два дня спустя после таинственной варки леденцов случилось вот что: Вальтер Матерн на поле подачи расставил ноги пошире и против обыкновения - да и то только потому, что Хайни Кадлубек сказал, что он, Вальтер, одни свечи и бьет, а вот дальние мячи ему слабо, - запустил дальний мяч, да такой, что он перелетел через обе "метки", через весь ромб поля и через бедный водой, но богатый лягушками плавательный бассейн. Словом, Вальтер Матерн запустил мяч в лес. И пришлось ему, покуда Малленбрандт не пришел и не начал пересчитывать мячи, перемахнуть через сетчатый забор и отправлять-

ся на поиски.

Но мяч не находился, сколько Вальтер его ни искал - будто сгинул. Он уже смотрел под каждым папоротником. Возле старой лисьей норы - он знал, что нора пустая, - он опустил на колени. Засунул в нору сук и давай шуровать в темной, жуткой дыре. Он уже собрался улечься на живот, чтобы засунуть руку в нору по самое плечо, как вдруг крикнула сорока, полетело сорочье перо и мяч стукнул его по спине: который же это куст мячом кидается?

Куст оказался человеком. Узелок вел себя тихо. Медная серьга в ухе покачивалась, потому что человек беззвучно смеялся. Розовый кончик языка трепетал в беззубом рту. Потертый шнур тяжело вдавился в ткань рубахи на левом плече. На шнуре спереди были нанизаны три ежа. Кровь капала с их острых носиков. Когда мужчина слегка повернулся, Вальтер увидел, что сзади на том же шнуре у него, будто для противовеса, привязан мешочек. Длинные, маслянисто-черные волосы на висках мужчина заплел в толстые, упругие косички. Так делали еще цитенские гусары.

- Вы гусар?

- Немножко гусар, немножко старьевщик.

- А как вас зовут?

- Би-дан-ден-геро. Ни одного зуба не осталось.

- А ежи зачем?

- Запекать в глине.

- А вот этот узелок?

- Сестренка, маленькая сестренка.

- А вон тот мешочек сзади? А что вы тут ищете? А ежей вы чем ловите?

А где вы живете? А у вас правда такое чудное имя? А если лесник вас поймает? А правда, что цыгане?.. А перстень на мизинце? А узелок спереди?..

Пор - и снова прокричала сорока из чащи леса. Биданденгеро заторопился. Сказал, что ему срочно надо на фабрику без окон. Там господин учитель. Ждет дикого меду для своих леденцов. У него для учителя блестящие камешки и еще есть один подарочек.

Вальтер Матерн остался один с мячом, не зная, как быть, на что решиться и куда направиться. Наконец он уже собрался было двигать обратно к сетчатому забору, на поле, - игра ведь не кончилась, - как вдруг из кустов колобком выкатился Амзель, вопросов не задавал, и так все слышал, рвался только в одну сторону: за Биданденгеро. И друга тянул за собой. Они пошли следом за человеком с ежами, и, когда теряли его из виду, им помогали алые капли крови на папоротниковых метелках. По этому следу они и шли. А когда ежики на шнурке у Биданденгеро перестали окликать их своей кровью, им стала верещать сорока: пор - и где-то впереди мелькало сорочье перо. А лес становился все гуще, смыкался все плотней. Ветки хлестали Амзеля по лицу. Вальтер Матерн наступил на красно-белый мухомор, поскользнулся, упал в мох и зубами уткнулся в кочку. Окаменелая лиса. Деревья корчат рожи. Паутина прямо в лицо. Пальцы в смоле. У коры кислотный привкус. Наконец лес чуть расступился. Солнечный свет, словно по ступенькам, спустился и упал на сложенные учителем камни. Послеполуденный концерт: гнейсы, прореженные авгитом, обманка роговая, сланцы, слюда, Моцарт, гермафродиты-кастраты от "Господи, помилуй!" до поочередного "Dona nobis" - многоголосое "пи-и-и!", но учителя в бисмарковской шляпе здесь нет.

Только холодное костровище. Промасленной бумаги и след простыл. И лишь когда буки за опушкой снова сомкнулись и закрыли небо, они ее обог-

нали: черная от муравьев, она тоже куда-то двигалась. Муравьи торопились переправить ее через границу, как Биданденгеро своих ежей. Но безнадежно отставали - что муравьи, если даже наши друзья отставали тоже, тщетно пытаясь нагнать сорочье перо, которое и звало, и дразнило, и посмеивалось: сюда! вот оно я! сюда! Вброд через папоротники, по пояс. Мимо аккуратных, чистеньких буковых стволов. Сквозь лучи зеленых лампад под куполом леса. Пропал, мелькнул, снова исчез - Биданденгеро, вон он. Но уже не один. Сорока созвала других смугляков. Здесь Гашпари и Гита, Леопольд и цыпка Гиты, цыпка тетя и Леопольдова цыпка, словом, все они здесь, гакко, старьевщики-барахольщики и лесные гусары, собрались под буками в тихом папоротнике вокруг Биданденгеро. А цыпка Гашпари притащила за собой Бороду - так звали козу.

И когда лес снова расступился, восемь или девять гакко, включая Бороду, то есть козу, вышли из леса. От последних деревьев они сразу нырнули в высоченную, в человеческий рост, траву ровной, без единого деревца, к югу протянувшейся лощины: а посреди лощины, в волнах зноя, как мираж, стоит фабрика.

Длинное, выгоревшее, одноэтажное здание. Нештукатуренная кирпичная постройка, воротники черной гари вокруг зияющих проемов окон. Наполовину разрушенная труба выставила в небо свою выщербленную челюсть. Но все же стоит, не падает, и высотой, похоже, поспорит с буками, что сплошной стеной обступили лощину. При этом труба не кирпичная, хотя в этих местах полно кирпичных заводов. Испускала прежде пары перегонки спирта, а теперь, когда фабрика приказала долго жить, а труба остыла, на ней свили свое нескладное, расхристанное гнездо аисты. Но, видно, и гнездо тоже брошено. Растрескавшееся жерло трубы укрыто гнилой, черной, лоснящейся на солнце соломой.

Рассыпавшись веером, они приближаются к фабрике. Сорока больше не кричит. По шее в траве, цыгане плывут через поле. Бабочки порхают над полевыми цветами. Амзель и Вальтер Матерн наконец выбрались на опушку леса и залегают в траву: сквозь дрожащие былинки они видят, как все гакко через разные оконные проемы, но одновременно проникают в заброшенную фабрику. Дочка Гашпари привязывает козу Бороду к крюку в стене.

Белая долгорунная коза. Не только фабрика, кляклая черная солома на треснувшей трубе, не только поле дрожит в зыбком мареве, но и коза Борода, кажется, вот-вот испарится на солнце. Нет, сейчас не время следить за порханием бабочек. В нем если и есть смысл, то не слишком серьезный.

Амзель не уверен: может, они вообще уже в Польше. Вальтер Матерн вроде бы видел в одной из оконных дырок голову Биданденгеро: промасленные косички на гусарский манер, медная побрякушка в ухе, мелькнул - и нет.

А Амзелю показалось, что сперва в одном, потом в другом окне он видел бисмарковскую шляпу.

Зато вот границу никто не видит. Разве что беззаботные летуны капустницы. А со стороны фабрики, на разные лады меняя громкость и окраску, наплывает по небу какой-то странный, булькающий звук. Не то чтобы пение, ругань или там крик, нет. Скорее усиливающееся верещание и гуканье. Коза Борода дважды блеет в небо свое сухое приветствие.

И тут из четвертой оконной дырки выпрыгивает первый гакко: это Гита, и он тащит с собой свою цыпку. Та отвязывает Бороду. А из окна уже еще один и потом еще двое в пестрых нищих лохмотьях: это Гашпари и Леопольд, а с ними Леопольдова дочурка в своих бесчисленных юбках. И ни один не выходит в дверь, все смугляки выскакивают через оконные дырки, послед-

ним, головой вперед, Биданденгеро.

Ибо все цыгане поклялись своей царице Машари: через дверь никогда, только в окно.

Веером, как пришли, гакко плывут по полю к лесу, который поглощает их без следа. Напоследок еще раз белая коза. Сорока не кричит. Пор, ее перо, не падает. Тишина, покуда не оживает снова притихший было лесной луг. Бабочки порхают. Шмели урчат, словно двухэтажные автобусы, зудят свою молитву стрекозы, а им вторят модницы мухи, осы и вся прочая насекомая братия.

Но кто посмел захлопнуть такую красивую книжку с такими прекрасными картинками? Кто выжал лимон на свежеиспеченные безе июньских облаков? Из-за кого вдруг молоко скисло? Отчего это кожа у Амзеля и Вальтера Матерна разом покрывается пупырышками, словно мурашки по ней ползут?

Узелок. Кулечек с младенцем. Беззубая кроха. Это она, сестренка, орет благим матом, и крик ее разносится из окон заброшенной фабрики над неугомонным летним лугом. И не черные провалы окон, а темная дверь выплевывает из своей пасти бисмарковскую шляпу: кричало-орало, учило-мучило - старший преподаватель Освальд Брунис стоит с орущим узелком на руках под всевидящим солнцем, не знает, как кулек держать, и зовет: "Биданденгеро! Биданденгеро!" - да только лес ему не отвечает. Но ни Амзель с Вальтером Матерном, которых этот пронзительный крик поднял на ноги и медленно, шаг за шагом по шуршащей траве притянул к фабрике, ни учитель Брунис с надрывающимся узелком на руках, ни вся пестрая, как из детской книжки, вселенная летнего лесного луга не выказали ни малейшего удивления, когда случилось еще одно чудо: с юга, с польской стороны, размеренно помахивая крылами, над лугом пролетели аисты. Они же буселы, черногузы, батяны, бачаны... В здешних краях про аиста говорят - адебар. Два аиста заложили торжественный вираж и по очереди плавно опустились в почерневшее расхристанное гнездо на треснувшую верхушку трубы.

И тут же начали трещать клювами. Все взгляды - учителя из-под бисмарковской шляпы и учеников - устремились вверх по трубе. Детский кулечек вдруг разом затих. "Адебар-адебар" - выстукивали аисты погремушками своих клювов. Освальд Брунис неожиданно обнаружил у себя в кармане искристый камешек - может, это был даже двуслюдяной гнейс? Видимо, он предназначался для малышки как игрушка. "Адебар-адебар". Вальтер Матерн хотел подарить узелку тот кожаный мячик, который проделал с ними столь долгий путь и с которого, по сути, все и началось. "Адебар-адебар". Но полугодовалая малышка, оказывается, уже держала в своих пальчиках игрушку - ангустри, серебряный перстенок Биданденгеро.

Этот перстенок Йенни Брунис, должно быть, и по сей день не снимает с руки.

Последняя утренняя смена

Похоже, так ничего и не состоялось. Конец света не ощущается. Браукселем снова можно писать при свете дня. Но по крайней мере одно знаменательное событие на дату четвертое февраля все же пришлось: все три рукописи закончены и представлены в срок; так что Брауксель может с удовлетворением положить любовные письма молодого Харри Либенау на свою стопку утренних смен; а на "Утренние смены" и "Любовные письма" он водрузит признания господина артиста. Если понадобится послесловие, его напишет

сам Брауксель: в конце концов, это он руководит шахтой и авторским коллективом, он выплачивает авансы, устанавливает и согласовывает сроки, он будет держать корректуры.

Как все происходило, когда к нам заявился молодой Либенау и предложил себя в качестве автора второй книги? Брауксель его проэкзаменовал. Он прежде писал лирику, да, и публиковал. Все его радиопьесы передавались по радио. Предъявил лестные и ободряющие рецензии. Его стиль характеризовали как свежий, динамичный и несбалансированный. Брауксель для начала поспрашивал его о Данциге:

- А назовите-ка мне, мой юный друг, переулки между Хмельной улицей и Новой Мотлавой.

Харри Либенау выпалил их назубок:

- Чибисный, Опорный, Линьковый, Погорелый, Адебарский, Монаший, Еврейский, Подойниковый, Точильный, Башенный и Лестничный.

- А как, молодой человек, - не унимался Брауксель, - вы изволите нам объяснить, откуда у Портшезного переулка такое красивое название?

Харри Либенау чуть обстоятельней, чем нужно, объяснил, что в этом переулке в восемнадцатом столетии стояли паланкины местных патрициев и знатных дам, это были как бы такси той эпохи, на которых без ущерба для богатого одеяния оную знать транспортировали через грязь и нечистоты городских улиц.

На вопрос Браукселя, кто ввел в тысяча девятьсот тридцать шестом году в экипировку данцигской полиции современные итальянские резиновые дубинки, Харри Либенау ответил с радостной готовностью новобранца:

- Дубинки ввел начальник полиции Фрибосс!

Но мне все еще было мало:

- А кто, мой юный друг, - уж это вы вряд ли припомните - был последним председателем данцигской партии центра? Как звали этого достопочтенного господина?

Но Харри Либенау действительно хорошо подготовился, даже Брауксель из его ответа почерпнул для себя кое-что новое:

- Священник и старший преподаватель, доктор теологии Рихард Стахник в тысяча девятьсот тридцать третьем году был избран председателем партии центра и депутатом данцигского фолькстага. В тысяча девятьсот тридцать седьмом году, после роспуска партии центра, арестован и полгода провел в заключении; в тысяча девятьсот сорок четвертом году депортирован в концентрационный лагерь Штутхоф, но спустя некоторое время освобожден. В течение всей своей жизни доктор Стахник занимался вопросом канонизации блаженной Доротеи фон Монтау, которая в тысяча триста девяносто втором году повелела замуровать себя живьем подле данцигского кафедрального собора.

Мне пришло в голову еще множество каверзных вопросов. Я хотел выяснить, как пролегалось русло речушки Штрисбах, названия всех шоколадных фабрик в Лангфуре, высоту Гороховой горы в Йешкентальском лесу - и я получил вполне удовлетворительные ответы. Когда, наконец, Харри Либенау в ответ на вопрос: какие известные актеры начинали свою карьеру в данцигском городском театре? - мгновенно назвал безвременно умершую Ренату Мюллер и кумира экрана Ханса Зенкера, я дал понять моему креслу, что экзамен окончен и выдержан успешно.

Так что после трех рабочих заседаний мы сошлись на том, что между "Утренними сменами" Браукселя и "Любовными письмами" вышеозначенного Харри Либенау нужен лишь небольшой связующий переход. Вот он:

Тулла Покрифке родилась одиннадцатого июня тысяча девятьсот двадцать седьмого года.

В день, когда родилась Тулла, погода была неустойчивая, с преобладанием облачности, а позже и незначительных осадков. Ветер, слабый до умеренного, шевелил ветви каштанов в Малокузнечном парке.

В день, когда родилась Тулла, недавний канцлер доктор Лютер по пути из Кенигсберга в Берлин приземлился в аэропорту Данциг-Лангфур. В Кенигсберге он произнес речь в Колониальной ассамблее; в Лангфуре в ресторане аэропорта он соизволил перекусить.

В день, когда родилась Тулла, оркестр данцигской полиции под руководством главного капельмейстера Эрнста Штиберица давал концерт в Сопотском курортном парке.

В день, когда родилась Тулла, пилот Линдберг, совершивший перелет через океан, взошел на борт крейсера "Мемфис".

В день, когда родилась Тулла, полицией, согласно полицейскому отчету от одиннадцатого числа июня месяца, было задержано семнадцать человек.

В день, когда родилась Тулла, делегация Вольного города Данцига прибыла в Женеву на сорок пятую сессию Ассамблеи народов мира.

В день, когда родилась Тулла, на Берлинской бирже были отмечены крупные экспортные закупки акций на искусственный шелк и электричество. Зарегистрировано повышение курса акций на эссенский каменный уголь - четыре и пять десятых процента; на цинк заводов "Ильзе и Штольберг" - плюс три процента. Кроме того, поднялись в цене некоторые виды внутриотраслевых товаров. Так, за ацетатный шелк давали на четыре, за бембергский искусственный шелк - на два процента больше, чем накануне.

В день, когда родилась Тулла, в кинотеатре "Одеон" шел фильм "Его самый большой блеф", где Гарри Пиль сыграл одну из самых блистательных своих ролей, к тому же двойную.

В день, когда родилась Тулла, данцигское окружное отделение Национал-социалистской рабочей партии Германии созывало всех на большой митинг в зале Святого Иосифа, в Хмельном переулке, с пяти до восьми. С докладом на тему "Немецкие пролетарии ручного и умственного труда - соединитесь!" должен был выступить ответственный партийный работник, товарищ Хайнц Хаке из Кельна на Рейне.

В день, когда родилась Тулла, в Красном зале Сопотского курортного театра повторно должно было состояться мероприятие под лозунгом "Народ бедствует! Кто спасет народ?". "Явка - массовая!" - призывал своих сограждан некий господин Хоенфельд, член данцигского народного собрания - фолькстага.

В день, когда родилась Тулла, учетная ставка банка Вольного города Данцига осталась неизменной и составила пять и пять десятых процента. Данцигские ржаные облигации котировались по девять гульденов шестьдесят за центнер ржи - вполне приличные деньги.

В день, когда родилась Тулла, книга "Бытие и время" еще не вышла, но уже была напечатана и объявлена.

В день, когда родилась Тулла, доктор Ситрон еще имел частную практику в Лангфуре; позже ему пришлось бежать в Швецию.

В день, когда родилась Тулла, колоколья на данцигской ратуше каждый четный час выбивала "Лишь Господь в небесной выси", а каждый нечетный - "Ангелов всех вожатый небесный". А колоколья церкви Святой Катарины каждые полчаса играла "Иисус Христос, яви нам очи".

В день, когда родилась Тулла, шведский пароход "Оддевулд" порожняком

входил в данцигскую гавань рейсом из Окселесунда.

В день, когда родилась Тулла, датский пароход "София" выходил из данцигской гавани с грузом леса рейсом на Гримсбю.

В день, когда родилась Тулла, в торговом доме "Штернфельд", в Лангфуре, детское платьице из репса стоило два гульдена пятьдесят. Юбка "принцесса" для девочки - два шестьдесят пять. Игрушечные ведерки шли по восемьдесят пять гульден-пфеннигов. Лейки по гульдону двадцать пять. А жестяные барабаны, лакированные, с палочками, предлагались по гульдону семьдесят пять.

В день, когда родилась Тулла, была суббота.

В день, когда родилась Тулла, солнце взошло в три часа одиннадцать минут.

В день, когда родилась Тулла, солнце зашло в двадцать часов восемнадцать минут.

В день, когда родилась Тулла, ее кузену Харри Либенау был один год и четыре дня.

В день, когда родилась Тулла, старший преподаватель Освальд Брунис удочерил полугодовалую девочку-найденыша, у которой уже резались молочные зубки.

В день, когда родилась Тулла, Харрасу, сторожевому псу ее дяди, был один год и два месяца от роду.

* КНИГА ВТОРАЯ. Любовные письма *

Дорогая кузина Тулла!

Мне советуют хотя бы в самом начале поставить во главу угла тебя и твое полное имя: обращаясь к тебе, которая повсюду была, есть и будет сутью, именовать тебя расплывчато и бесформенно, будто я и впрямь начинаю самое обычное письмо. Тогда как я рассказываю себе, исключительно и неизлечимо себе одному; или есть какой-то смысл сообщать тебе, что я рассказываю все это для себя? Ваши семьи, семья Покрифке и семья Даммов, были родом из Кошнадерии.

Дорогая кузина!

Поскольку каждое мое слово к тебе заведомо тщетно, поскольку все мои слова, даже когда я рассказываю себе, негибаемо и твердо только себе, имеют в виду тебя, не лучше ли нам заключить наконец бумажный мир и подвести под мое времяпрепровождение и под мой скудный заработок скромный ленточный фундамент: так и быть, я рассказываю тебе. А ты не слушаешь. Ну а обращение - словно мне все равно, написать тебе одно письмо или сотню, - пусть будет формальной прогулочной тросточкой, которую я давно хотел бы выбросить, которую я частенько и в сердцах еще буду выбрасывать - в Штрисбах, в море, в акционерный пруд, но пес, черный и о четырех лапах, умный дрессированный пес принесет мне ее обратно.

Дорогая Тулла!

Моя мать, урожденная Покрифке и сестра твоего отца Августа Покрифке, была родом, как и все Покрифке, из Кошнадерии. Седьмого мая, когда Йенни Брунис было примерно полгода, я чин-чином родился. Семнадцать лет спустя кто-то двумя пальцами взял меня за шкурку и усадил в большой, довольно натурального вида танк, назначив заряжающим. И все это в Силезии, то есть в местах, не знакомых мне в той же мере, в какой родная Кошнадерия южнее Коница знакома до слез, - так вот, посреди Силезии наш танк двигался в укрытие и в целях маскировки въехал задом в деревянный сарай, который силезские стеклодувы до крыши устали изделиями своего тонкого ремесла. И если до того я без усталости и передышки искал, о Тулла, рифму к твоему имени, то в этот миг ползущий в укрытие танк вкупе с пронзительным звоном и дребезгом лопающихся бокалов произвели эффект, в результате которого твой кузен Харри обратился к нерифмованному языку: отныне я стал писать простыми предложениями и пишу сейчас, поскольку некий господин Брауксель посоветовал мне попробовать силы в романе, настоящий нерифмованный роман.

Дорогая кузина Тулла!

О красотах Боденского озера и тамошних девушках я не знаю ничего; зато о тебе и Кошнадерии я знаю все. Ты родилась одиннадцатого июня. Координаты Кошнадерии: тридцать пять и три десятых градуса северной широты и семнадцать с половиной градусов восточной долготы. При рождении твой вес составлял два килограмма и триста граммов. К Кошнадерии как таковой относятся семь деревень: Франкенхаген, Пецтин, Дойч-Цекцин, Гранау, Лихтнау, Шлангентин и Остервик. Оба твоих старших брата - Зигесмунд и Александр - родились еще в Кошнадерии; Тулле же и ее брату Конраду метрики выписаны в Лангфуре. Фамилия Покрифке встречается в приходской книге Остервика еще до тысяча семьсот семьдесят второго года. Что касается Даммов, семьи твоей матери, то она упоминается уже несколько лет спустя после разделов Польши сперва во Франкенхагене, а затем в Шлангентине; вероятно, они переехали сюда из прусской Померании, потому что происхождение фамилии от епископского угодья Дамерау представляется мне крайне сомнительным, тем более что Дамерау вместе с Обкассом и Грос-Цирквицем уже в 1275 году было пожаловано архиепископу фон Гнезну. Дамерау называлось тогда Луиссева Дамброва, иногда и попросту Дубрава, непосредственно к Кошнадерии это село никогда не относилось, так что Даммы в любом случае пришлые.

Дорогая кузина!

Ты появилась на свет на Эльзенской улице. Мы жили в одном доме. Сдавал дом мой отец, столярных дел мастер Либенау. Чуть наискосок напротив, в так называемом акционерном доме, жил мой будущий учитель, старший преподаватель Освальд Брунис. Он удочерил девочку и назвал ее Йенни, хотя в наших краях девчонок отродясь так не называли. Черного пса, овчарку, во дворе нашей столярной мастерской звали Харрас. Тебя крестили именем Урсула, но с самого начала стали именовать Туллой. Вероятно, это имя

как-то связано с кошнадерским водяным духом, который обитал в Остервикском озере и именовался в письменных источниках по-разному: Туля, Дуля, Тюля или Тюляш, а то и просто Тул. Когда Покрифке еще жили в Остервике, надел, который они арендовали, был на Мшистой горе, неподалеку от озера, прямо на коницком проселке. Наименование Остервик начиная от середины четырнадцатого века и до дня рождения Туллы в 1927 году писалось так: Остирвиг, Остирвих, Остервигх, Остервиг, Остервык, Островит, Островите, Остервик, Островитте, Остров. А в произношении кошнадерцев оно вообще звучит как Устевитч. Польский корень названия деревни Остервик, слово *ostrow*, означает остров в реке или в озере; дело в том, что изначально, то есть в четырнадцатом столетии, деревня располагалась на острове в Остервикском озере. Березовые и ольховые кроны смотрелись в омуты, богатые карпами. Но помимо карпов и карасей, плотвы и всенепременной щуки, в озере обретались также: рыжая корова с белой звездочкой на лбу, способная говорить человеческим голосом на Иванов день, сказочный кожаный мост, два мешка желтого золота со времен гуситских нашествий и вздорный водяной дух - Туля, Дулечка, Тюляш.

Дорогая Тулла!

Мой отец, столярных дел мастер, частенько любил повторять:

- Нет, Покрифке никогда тут по-людски не заживут. Оставались бы, откуда пришли, на своей капусте.

Намеки на кошнадерскую белокочанную капусту явно предназначались моей матери, урожденной Покрифке, ибо это она сманила своего брата с женой и двумя детьми с родных кошнадерских песков в городское предместье. Это по ее настоянию столярных дел мастер Либенау нанял к себе подсобным рабочим бывшего испольтника и батрака Августа Покрифке. И это моей матери удалось уговорить отца по дешевке сдать четверым своим родичам - Эрна Покрифке уже была беременна Туллой - освободившуюся трехкомнатную квартиру прямо над нами.

За все эти добродейания твоя мать не слишком-то моего отца благодарила. Даже больше того - при каждом семейном скандале норовила обвинить его и его столярную мастерскую в глухоте ее глухонемого сына Конрада. Наша с утра до ночи надрывающаяся, почти не знающая передышек дисковая пила, заставлявшая подвывать и до хрипоты лаять всех собак в округе, включая Харраса, якобы привела к тому, что ушки маленького Конрада еще в материнской утробе увяли и перестали слышать.

Столярных дел мастер слушал Эрну Покрифке вполуха, потому что ругалась она по-кошнадерски. Разве это можно понять? Разве это можно выговорить? Жители Кошнадерии вместо "церковь" говорили "серхва". "Гора" у них называлась "хра", "дорога" - "троха". "Тятушкин дух" - это был на самом деле "тятушкин", то есть батюшкин луг - надел остервикского священника, примерно два моргена кочковатой, худосочной земли. Когда Август Покрифке рассказывал о своих странствиях по Кошнадерии, то бишь про свои коробейничьи зимние походы в Цекцин, Абрау, Герсдорф, Дамерау и Шлангентин, это звучало примерно так: "Йду уф Сехсыну. Йду уф Оброх. Йду уф Херсдоф. Йду уф Домеру. Йду уф Шлахтыну". Если он описывал поездку по железной дороге до Коница, то это называлось "по железячке уф Куних". Когда остряки, желая посмеяться, спрашивали, сколько же у него в Остервике было земли, он отвечал - дескать, сто двенадцать моргенов, но потом, подмиг-

нуж, неизменно поправлялся, намекая на пресловутые кошнадерские летучие пески:

- Только сотню бесперечь гдей-то ветер носит.

Признайся, Тулла,

подсобный рабочий из твоего отца был неважный. Даже к дисковой пиле мастер не мог его приставить. Мало того что у него постоянно приводной ремень соскакивал, так он еще и портил самые дорогие пильные полотна, нарезая себе лучину для растопки из бросовой, напичканной гвоздями тарной доски. Лишь с одной задачей он справлялся в срок и к полному удовольствию всех подмастерьев: кастрюля с клеем на железной плите в комнате над машинным цехом всегда стояла наготове, полная и горячая, для пяти подмастерьев, трудившихся за пятью верстаками. Клей пускал пузыри, сварливо что-то бурчал, мог отдавать медовой желтизной или серостью глины, мог растекаться, как гороховый суп, и растягиваться пленкой не хуже слоновой шкуры. Местами застывая, местами прорываясь горячей жижей, клей то и дело убегал из кастрюли, пускал все новые и новые "языки", не оставляя ни клочка эмали на кастрюльной поверхности и не позволяя распознать в этой страшной посудине обыкновенную суповую кастрюлю. Кипящий клей помещивали обрезком обрешеточной рейки. Но клей слой за слоем налипал и на дерево, образовывал бугры и набухшие морщинистые складки, все больше оттягивая руку Августа Покрифке, покуда не превращал обрезок доски в роговистое страшилище, которое подмастерья называли слоновьим окороком и выбрасывали, заменяя его новым обрезком все той же, казалось, нескончаемой обрешеточной рейки.

О костный клей, столярный клей! На кривом, покрытом слоем пыли в палец толщиной стеллаже штабелем лежали темно-коричневые, одна к одной, фабричные плитки клея. Начиная с моего третьего и до семнадцатого года жизни я преданно носил с собой в кармане штанов кусочек клея - такой он был для меня святыней; твоего отца я называл богом клея, ибо у этого божества были не только сплошь заляпанные костным клеем пальцы, которые при малейшем движении вкусно похрустывали, от него еще исходил и запах, который повсюду ему сопутствовал. Ваша трехкомнатная квартира, твоя мать и твои братья пахли клеем. Но щедрее всего он наделял этим дурманом свою дочурку. Клейкими пальцами он трепал ее по щеке. Частичками клея он обсыпал свою девчущку, когда показывал ей нехитрые - ловкость рук и никакого мошенства - фокусы. Словом, бог костного клея превратил Туллу в девочку из столярного клея; ведь где бы Тулла ни шла, стояла, бежала, где бы она ни остановилась вчера, где бы ни прошла утром, где бы ни пробежала неделю назад, что бы Тулла ни схватила, выбросила, долго или мельком трогала, чем бы она ни играла - стружками, гвоздями, шарнирами, - во всяком месте и на всяком предмете, которые попадались Тулле на пути, оставался либо едва слышный, либо почти адский, но в любом случае ничем не заглушимый запах костного клея. Вот и твой кузен Харри тоже к тебе приклеился: сколько лет нас было не разлить, и пахли мы сродственно.

Дорогая Тулла!

Когда нам было по четыре года, вдруг выяснилось, что у тебя не хватает извести. Примерно то же самое говорили о мергельных почвах Кошнадерии. Валунный мергель четвертичных времен, когда образовывались основные морены, содержит, как известно, углекислую известь. Однако выветренные и

размытые дождями мергельные пласты на полях кошнадеров были бедны известью. И тут уж не помогали никакие удобрения, никакие государственные дотации. Никакие молитвы и полевые процессии - кошнадеры все как один были католики - не могли вернуть полям известь. Зато тебе доктор Холлац прописал известковые таблетки, и уже вскоре, в пять лет, известь у тебя оказалась достаточно. Ни один из твоих молочных зубов больше не шатался. Резцы у тебя слегка выступали вперед, и для Йенни Брунис, девчонки-подкидыша из дома напротив, эти резцы скоро станут неотступным кошмаром.

Тулла и я, мы оба никогда не верили,

что цыгане и аисты якобы были заодно в тот день, когда была найдена Йенни. Типичная сказочка папаши Бруниса: у этого никогда и ничто не происходило просто так, повсюду ему мерещились скрытые силы, и он исхитрялся неизменно пребывать в рассеянном ореоле чудаковатости: и когда подкармливал свою манию собирательства слюдяных гнейсов новыми, нередко и вправду превосходными экземплярами - в шизанутой Германии хватало таких же шизиков, с которыми он вел переписку, - и когда на улице, на школьном дворе или в классе изображал из себя то ли древнекельтского друида, то ли прусское дубовое божество, то ли Заратустру - у нас его считали масоном, - он всегда и всюду давал волю тем своим качествам, за которые наш мир так любит и ценит чудаков, называя их "оригиналами". Но лишь Йенни, его обращение с этой кукольной малюткой, превратило старшего преподавателя Освальда Бруниса в окончательного оригинала, прославившегося в этом качестве не только в окрестностях гимназии и на Эльзенской улице, но и во всех параллельных и поперечных улицах и переулках и во всем - таком большом и таком маленьком - предместье Данцига под названием Лангфур.

Йенни была упитанным ребенком. Даже когда вокруг Бруниса и Йенни слонялся Эдди Амзель, девочка не казалась грациозней. Поговаривали тогда, что этот Эдди и его друг Вальтер Матерн будто бы были свидетелями того, каким чудесным образом Брунис нашел Йенни. Как бы там ни было, но Амзель и Матерн оказались двумя четвертинками того кленового листка, над которым тихо подтрунивала вся наша Эльзенская улица, да и вообще весь Лангфур.

Для Туллы пишу я этот ранний портрет:

я изображаю тебе потешного, нос картошкой, господина, чье лицо испещрено тысячами морщинок; на коротком седом бобрике господин носит широкополую мягкую шляпу. Вот он вышагивает в зеленой грубошерстной крылатке. Справа и слева его эскортируют, стараясь не отставать, двое учеников. Эдди Амзель - это, как принято говорить, толстый увалень. Все одежды на нем вот-вот лопнут. Пухлые подушки колен оторочены складочками жирка. Всюду, где его тело вырывается наружу, всходит густой посев веснушек. В целом он производит впечатление существа бескостного. Совсем не то, что его друг - этот широк в кости и держится независимо, словно желая показать, что учитель, Эдди Амзель и пышка-малютка находятся под его защитой. Девочке уже пять с половиной, но она все еще возлежит в большой детской коляске, потому что ходить как следует пока не может. Коляску везет Брунис. Иногда ее везет Амзель, и уж совсем редко - Скрипун. А в изножье коляски скомкан приоткрытый коричневый кулек. Детвора чуть ли не со всего квартала по пятам следует за коляской - каждый надеется получить конфету, которую они называют "сосачкой".

Но лишь перед акционерным домом, что стоит напротив нашего, Тулла, я и другие ребята получали, как только старший преподаватель Брунис оставливал непривычно высокую коляску, пригоршню леденцов из коричневого

пакетика, причем он никогда не забывал сунуть один и себе, даже если его полустарческий рот еще не управился с предыдущим и продолжал мусолить на языке прозрачный стеклянистый обсосок. Иногда и Амзель посасывал конфетку за компанию. Но вот чтобы Вальтер Матерн взял леденец - такого я не припомню. Зато пальчики Йенни также склеивались от квадратных мятных подушечек, как пальцы Туллы склеивались от костного клея, из которого она делала катыши - она ими играла.

Дорогая кузина!

Подобно тому как я стремлюсь выяснить все про тебя и твой столярный клей, точно так же нужно установить ясность и в вопросе с кошнадерами, или, как их еще называли, кошनावерами. Чистым вздором представляются мне попытки обосновать происхождение слов "кошнавер" или "кошнадер" якобы историческими, но ничем не подкрепленными толкованиями. Согласно им, кошнадеры во время польских восстаний якобы чрезвычайно активно и деятельно вовлеклись в немецкие погромы, поэтому собирательное обозначение "кошнадеры" или "кошनावеры" каким-то образом связано с немецким и тоже собирательным понятием "копфшнайдеры", или, проще говоря, головорезы. И хотя у меня лично есть все основания принять эти гипотезы на веру - ты, неисправимая кошнадерка, выказывала все склонности к этому кровавому ремеслу, - я все же склонен придерживаться куда более прозаического, но и более вразумительного объяснения, согласно которому служилый человек из управы в Тухеле, по фамилии Кошневский, в 1484 году подписал грамоту, в которой излагались все права и обязанности подчиненных управе деревень, кои деревни впоследствии и стали по имени подписавшего грамоту называться кошневскими. Конечно, полной уверенности все равно нет. Названия городов и весей таким образом, вероятно, еще как-то можно раскусить, но Туллу, не столько девочку, сколько загадочное Нечто, разгадать с помощью историй о добросовестном служилом местной управы по фамилии Кошневский никак невозможно.

Тулла,

чье тугое белокожее тело не знало устали, могла полчаса провисеть головой вниз на перекладине для отбивки ковров и при этом еще петь через нос. Косточки под голубыми прожилками, мускулы без единой складочки жира - все это превращало Туллу в неугомонное, бегающее-прыгающее-лазающее, а в целом, казалось, - летучее создание. Поскольку глаза у Туллы были от матери - миниатюрного разреза, близко и глубоко посаженные, - самыми приметными в ее лице были ноздри. Когда Тулла злилась - а она по многу раз на дню делалась вдруг злощей, надменной и будто застывшей, - она закатывала глаза, и в разрезах век мерцали только голубоватые, в прожилках, белки глазных яблок. Эти ее мерцающие злые белки напоминали об увечьях, о пустых, выколотых глазницах, о бродягах и побирушках, которые выдают себя за нищих слепцов. Мы, когда она делалась такой вот ледышкой и начинала мелко дрожать, говорили:

- Тулла опять закрытые занавески показывает.

Сколько помню себя, я всегда бегал за своей кузиной - точнее говоря, таскался хвостом за тобой и твоим запахом костного клея, стараясь не отставать больше чем на два шага. Твои братья Зигесмунд и Александр уже ходили в школу, у них была своя жизнь. С нами оставался только глухонемой кудряш Конрад. Ты да он, меня допускали из милости. Мы забирались в

деревянный сарай под толевой крышей. Пахло досками и смолой, а меня превращали в глухонемого: ведь вы, ты и он, могли разговаривать руками. Убранные или скрещенные пальцы что-то означали, и меня эти знаки настораживали. Ты и он, вы рассказывали друг другу какие-то истории, от которых ты начинала хихикать, а он сотрясаться в беззвучном смехе. Ты и он, вы оба вынашивали коварные замыслы, жертвой которых по большей части оказывался опять же я. Если ты вообще кого-то в жизни любила, то только его, кудряша; а меня вы унижали до того, что заставляли засовывать руку тебе под платице. Под толевой крышей деревянной халупы было душно. Кисловатый запах дерева. Солоноватый вкус ладони. И я не мог, не мог уйти, приклеился - твой костный клей. Во дворе заходилась дисковая пила, сыто рычал строгальный станок, гудел выпрямитель. Во дворе поскуливал Харрас, наш сторожевой пес.

Слушай внимательно, Тулла!

Вот каким он был: черный кобель со слегка вытянутым корпусом, стоячими ушами и длинным хвостом. Не длинношерстный бельгийский грюендаль, а жесткошерстная немецкая овчарка. Мой отец, столярных дел мастер, незадолго до нашего рождения купил его в Никельсвальде, деревушке в устье Вислы, еще щенком. Тридцать гульденов запросил за него хозяин, владелец никельсвальденской мельницы, известной тем, что на ней переночевала императрица Луиза. У Харраса были мощные челюсти и сухие, плотно смыкающиеся губы. Его темно-карие, чуть косо поставленные глаза следили за каждым нашим шагом. Шея сильная, крепкая, без подвеса и подглоточного мешка. Длина хвоста на шесть сантиметров превосходила высоту лопаток: я сам промерял. С какой бы стороны ни смотреть на Харраса - постав лап по отношению к туловищу всегда был правильный. Пясти и плюсны крепкие, пальцы плотно сжатые. Подушечки лап в меру упругие, без трещин. Длинный, плавно ниспадающий круп. Плечи, предплечья, скакательные суставы - сильные, хорошо омускуленные. Псовина - волосок к волоску, остевые волокна прямые, жесткие, плотно прилегают к телу и сплошь черные. И подшерсток черный. Не темный волчий окрас на сером или желтом основании. Нет, повсюду, вплоть до стоячих, высоко посаженных, с легким наклоном вперед ушей и глубокой, мощной груди, на бедрах с умеренно длинными штанами - его шерсть повсюду отливала и поблескивала глубокой чернотой: чернотой зонтика и священника, чернотой вдовы и мундиров, чернотой школьной доски и фалангистов, чернотой дроздов, Отелло и Рура, чернотой фиалок и томатов, лимонов и муки, молока и снега.

Харрас умел искать, находить, приносить поноску, подавать голос; по следу шел с низко опущенным носом. Однако на розыскных испытаниях на Бургерском лугу он оплошал. Харрас был кроющим кобелем и состоял в племенной книге. Правда, хождение на поводке у него немного не ладилось: тянул. В облаивании был хорош, но по следу работал посредственно. Столярных дел мастер Либенау отдал его на дрессировку в полицейскую школу в Верхнем Штрисе. Там его отучили от поедания собственного кала - беды многих молодых собак. На его жетоне были выбиты цифры 517, что в сумме давало число 13.

Повсюду в Лангфуре - на Быстрой мельнице и в Колонии Шихау, от Саспе до Брезена, по Йешкентальскому проезду и к Святому колодцу вниз, вокруг стадиона имени Генриха Элерса, за крематорием, перед торговым домом Штернфельда, у акционерного пруда, в канаве у ограды полицейского участка, на определенных деревьях Упахгенского парка, на определенных липах аллеи Гинденбурга, на цоколях пестрящих событиями афишных тумб, на осно-

вании флагштока перед ждущим новых митингов спортзалом, на столбах не затемненных пока что уличных фонарей предместья Лангфур - оставлял Харрас свои пахучие метки; и хранил им верность все свои собачьи годы.

В холке рост Харраса составлял шестьдесят четыре сантиметра. В пятилетней Тулле росту было один метр пять сантиметров. Ее кузен был на четыре сантиметра повыше. Его отец, рослый и статный столярных дел мастер, утром имел рост метр восемьдесят три, а после работы на два сантиметра меньше. Август и Эрн Покрифке, так же, как и Йоханна Либенау, в девичестве Покрифке, все были ростом не выше метра шестидесяти двух: кошнадеры, никудышняя порода, что с них взять!

Дорогая кузина Тулла!

Какое бы дело мне было до Кошнадерии, если бы вы, Покрифке, не вышли оттуда. А так я знаю: деревни Кошнадерии с 1237-го по 1308-й принадлежали герцогам Поммерельским. После того как этот род вымер, кошнадеры до 1466 года платили подати Тевтонскому ордену. До 1772-го их приняло в свой состав Польское королевство. Во время европейского аукциона Кошнадерия перепала пруссакам. Те поддерживали порядок до 1920-го. С февраля двадцатого деревни Кошнадерии стали деревнями Республики Польша, покуда осенью 1939-го они не вошли в составе округа Данциг - Западная Пруссия в Великий Германский Рейх: насилие. Погнутые булавки. Пляшущие флажки. Постой и расквартирования: шведы, гуситы, отряды СС. "Если-ты-не, тогда..." "Огнем-и-мечом..." "Сегодня с четырех сорока пяти утра..." Циркульный переpleс на штабных картах. В контратаке овладев Шлангентином... Танковый дозор неприятеля по дороге на Дамерау... Наши войска отбивают массированное наступление к северо-западу от Остервика. Отвлекающие атаки двенадцатой полевой дивизии люфтваффе к югу от Коница приостановлены. В ходе выравнивания линии фронта нашими войсками оставлена так называемая Кошнадерия. Отступившие подразделения занимают позиции к югу от Данцига... И так без конца: сильные дяди, мастера стращать, они и сегодня уже снова грозно вздымают кулаки, зажав в них штабные пресс-папье...

О Тулла!

Как поведать тебе о Кошнадерии, о Харрасе и его пахучих метках, о костном клее, мятных леденцах и детской коляске, когда созерцание кулака становится чуть ли не манией! А ведь коляска должна еще и катиться... Итак, в один прекрасный день катилась коляска. Много-много лет назад катилась коляска на четырех высоких колесах. На четырех высоких старомодных колесах катилась черная, лакированная, вся в трещинах от старости. Спицы, пружины, ручка, чтобы толкать коляску перед собой, - все эти некогда блестящие хромированные детали выказывали тут и там обшарпанные, серые, незрячие залысины. Залысины изо дня в день росли, незаметно: прошлое... Итак, в один прекрасный день, когда летом тридцать второго... Тогда, тогда, тогда, когда я был пятилетним мальчуганом, во время Олимпиады в Лос-Анджелесе, уже тогда были кулаки, умевшие разить быстро, деловито и вполне увесисто; и все же, будто и не замечая, куда ветер дует, миллионы людей в одно и то же время катили коляски на высоких и низких колесах, катили на солнце, катили в тень.

На четырех высоких старомодных колесах летом тридцать второго катилась черная, лакированная, изрядно потрепанная уже коляска, которую гитлерист Эдди Амзель, знавший все лавки старьевщиков в округе, выторговал

в Поденном переулке. Толкали ее попеременно он, старший преподаватель Освальд Брунис и Вальтер Матерн. Просмоленные, выкрашенные масляной краской и тем не менее сухие доски, по которым ехала коляска, были досками брезенского морского пирса. Брезен - это приветливое местечко, морской курорт с 1823 года, с зачуханной рыбацкой деревушкой и курортным залом под величественным куполом, с пансионами "Германия", "Евгения" и "Элиза", с малорослыми дюнами и жидкой прибрежной рощицей, с рыбацкими лодками и купальней на три отсека, со спасательной вышкой "Немецкого общества спасения на водах" и аж сорокавосемиметровым морским пирсом, расположилась аккурат посередине между Новой Гаванью и Глеткау на берегу данцигской бухты. Пирс в Брезене был двухъярусный и имел по правую руку выдвинутый в море коротким ответвлением волнорез, защищавший его на случай шторма. На двенадцати своих флагштоках брезенский пирс каждое воскресенье поднимал двенадцать гордо реющих стягов: поначалу только флаги балтийских городов, потом, один за другим, флаги со свастикой.

Под флагами городов катится по доскам коляска. Старший преподаватель Брунис, непривычно чужой во всем черном, толкает ее перед собой, но вскоре позволит себя сменить либо толстяку Амзелю, либо угрюмому Матерну. В коляске сидит Йенни, которой скоро будет шесть лет, а ходить ей все еще нельзя.

- Давайте спустим Йенни побегать! Ну пожалуйста, господин Брунис. Только попробуем. Мы ее с двух сторон поддержим.

Нет, Йенни Брунис ходить не разрешается.

- Нет-нет, еще потеряется. Еще затолкают в этой воскресной давке. - Давка не давка, но народу полно: люди гуляют, слоняются, встречаются, расстаются, кланяются, не глядя проходят мимо. Машут, берут под руку, указывают на мол, на скалу Орлиное гнездо, приветствуют, припоминают, злятся. И все так нарядно одеты - с ниточки с иголочки, все новенькое и в цветочек. Без рукавов и по сезону. Тенниски и новенькие матроски. Галстуки на ветру. Ненасытные фотоаппараты. Соломенные шляпы с обновленной прокладкой. Выбеленные зубной пастой парусиновые туфли. Высокие каблуки боязливо избегают щелей в настиле пирса. Мнимые капитаны прильнули к биноклям. Или просто, прикрыв глаза ладонью, мужественно смотрят вдаль. Матросских костюмчиков не меньше, чем детишек: носят, играют, прячутся, пугаются. Я тебя вижу, ты меня нет. Эники-беники-ели-вареники. Вышел-месяц-из-тумана. Вон там, да вон он, господин Англикер с Нового рынка со своими двойняшками. У двойняшек одинаковые большие банты, и они с одинаковой неспешностью бледными языками лижут мороженое. А вон господин Кошник с Гертовой улицы вместе с женой и гостем из Рейха. Господин Зелльке дает своим сыновьям по очереди посмотреть в бинокль: шлейф дыма, палубные надстройки - это на подходе паром "Кайзер". У супругов Берендтов кончились все гостинцы для чаек. Госпожа Грунау, у которой прачечная-гладильня возле Большой копильни, с тремя молоденькими ученицами. Булочник Шеффлер с Малокузнечного переулка со своей хохотушкой женой. Хайни Пиленц и Оттен Зоннтаг без родителей. А вон и господин Покрифке с пальцами в клею. На нем виснет его костлявая гримза жена, которой то и дело приходится с крысиным проворством вертеть головой во все стороны:

- Тулла! - приходится ей кричать. И тотчас же: - Александр! - И еще: - Зигесмунд, следи за Конрадом!

Ибо здесь, на пирсе, кошнадерцы на своем жутком наречии говорить стесняются, хоть столярных дел мастера Либенау и его жены поблизости и нет. Мастеру этим воскресным утром пришлось остаться в мастерской и чер-

тить, чтобы в понедельник машинист-пильщик знал, что и как распиливать. А жена его без мужа гулять не выходит. Но зато сын его здесь, потому что Тулла здесь. Оба младше Йенни, тем не менее обоим можно не только ходить, но и бегать. Можно на одной ножке за старшим преподавателем Брунисом и его немного застенчивыми учениками прыгать крест-накрест, как в "классики". Можно вдоль по пирсу до самого конца, где он завершается остроносом, опасным треугольником. Можно по лестницам справа и слева вниз, на нижний ярус, где всегда рыбаки и ловится мокрель. Можно в быстрых сандалиях носиться по узким нижним мосткам и тайком от взрослых прятаться между балками пирса под самым настилом, под шарканьем сотен выходных туфель, под легким перестуком прогулочных тростей и зонтиков. В прохладной зеленоватой тени. Там, под верхним ярусом, не бывает дней недели. Вода пахнет строгостью и прозрачна до самых ракушек и бутылок, что перекачиваются по дну. На опорах, что держат на себе пирс и народ на пирсе, нехотя покачиваются бороды водорослей: вокруг них, тут и там, стайки колюшки - серебристые, шустрые, привычные. С верхнего яруса падают окурки, распуская вокруг себя коричневатую мантию, приманивая, а потом отталкивая небольших, в палец длиной, рыбешек. Стайки мальков движутся стремительными рывками: кидаются вперед, замирают, поворачивают, распадаются, собираются снова уже чуть глубже и уплывают - туда, где развеваются новые бороды водорослей. Покачивается пробка. Бутербродная бумага набухает и вяло кружится. Между просмоленными балками Тулла Покрифке одергивает свое выходное платишко, уже все в пятнах. Ее кузену приказано сунуть под платье руку. Но он не хочет и глядит в сторону. Тогда и она, значит, не-хочет-не-может-не-будет, - и уже спрыгнула с перекрестья балок вниз на мостки, уже мчится, хлопая сандалиями по доскам, потряхивая косичками, вспугивая клюющих носами рыбаков, уже взбираясь по лестнице, туда, где простор пирса, где двенадцать флагов, где воскресное утро; а ее кузен Харри идет следом, идет за ее дурманящим запахом костного клея, который легко и громко заглушает запах водорослевых бород, запах просмоленных и все же гниющих балок, запах высушенных ветрами мостков и даже запах моря.

И ты, Тулла,

как-то воскресным утром сказала:

- Да спустите вы ее. Хочу поглядеть, как она ходит.

Как ни удивительно, старший преподаватель Брунис кивает, и Йенни разрешено пройти по дощатому настилу брезенского морского пирса. Кто-то смеется, многие улыбаются, потому что Йенни такая толстушка и так неловко передвигается по дощатому настилу причала на своих ножках-сардельках, перехваченных резинками гетр и втиснутых в лаковые туфельки с пряжками.

- Амзель, - интересуется Брунис из-под черной фетровой шляпы, - а тебе, когда ты был, допустим, шестилетним ребенком, сильно досаждала твоя, прямо скажем, тучность?

- Да не особенно, господин учитель. Вальтер всегда присматривал. Только за партой сидеть было неудобно, скамейка слишком узкая была.

Брунис угощает конфетами. Пустая коляска стоит поодаль. Матерн с неуклюжей осторожностью ведет Йенни. Флаги вытянулись в одну сторону и трепещут. Теперь Тулла хочет вести Йенни. Коляска, надо надеяться, никуда не укатится. Брунис посасывает мятный леденец. Йенни идти с Туллой не хочет, она вот-вот разревется, но Матерн рядом, да и Эдди Амзель тут как тут - мигом и очень похоже изображает курятник. Тулла поворачивается на каблучках. На носу пирса столпился народ - там вроде кто-то собирается

петь. Лицо Туллы превратилось в треугольник, такой маленький, что ярость в нем неимоверна. На конце пирса уже поют. Тулла закатывает глаза: закрытые занавески. Группа подростков - "юнгфольк", "юность народа" - встала у самых поручней полукругом. Иссушенная ярость кошнадеров: Тул-Дул-Тулла. Не все мальчики в форме, но все поют, а из слушателей многие подтягивают и одобрительно кивают. "Мы любим бури..." поют все, а единственный непоющий на неестественно прямых руках держит треугольный черный вымпел с вышитой на нем руной. Коляска стоит в стороне, брошенная и пустая. Теперь они поют: "В ранний час, когда светает, наступает наша эра". Потом кое-что повеселее: "Чудак по имени Колумб..." Кудрявый юнец лет пятнадцати, правая рука которого, возможно и вправду пораненная, висит на перевязи, жестами смущенными, но приказующими призывает слушателей подхватывать если не всю песню о Колумбе, то хотя бы припев. Молоденькие девушки, взявшись под руки, и солидные мужи, среди которых господин Покрифке, господин Берендт и торговец колониальными товарами Мацерат, начинают подпевать. Упругий норд-ост натягивает флаги и скрадывает фальшивые нотки веселого хора. Если вслушаться внимательно, можно слышать то забегающий вперед, то отстающий от ритма песни перестук детского жестяного барабана. Это, должно быть, сын Мацерата, торговца колониальными товарами. Мальчик немного со странностями. Бессмысленный припев прямо-таки нескончаемой песни звучит так: "Глория-виктория, виде-виде-вит-юххай-расса", - и пение между тем мало-помалу становится обязательным. Оглядки: "А этот почему не поет?" Прищур искоса: ага, супруги Ропинские тоже поют. И даже старик Завацкий, прожженный социалист, рот раскрывает. Ну же, дружно! Смелей! Вон, даже господин Цурек и почтовый секретарь Бронски тоже поют, хотя оба работают на площади Хевелиуса, на польской почте. "Виде-виде-вит-бум-бум". А что же господин старший преподаватель? Неужто не может по крайней мере заложить за щеку свой мятный леденец и хотя бы для вида? "Глория-виктория!" В стороне, брошенная и пустая, на четырех высоких колесах стоит коляска. Поблескивая черным, в трещинах, лаком. "Виде-виде-виде-вит-юххай-расса!" Папаша Брунис хочет взять Йенни на руки и освободить ее ножки-сардельки от лакированной обувки с тугими пряжками. Но его ученики - "Глория-виктория!" - особенно Вальтер Матерн, его отговаривают. Эдди Амзель тоже поет: "Виде-виде-виде-вит-юххай-расса!" У него, наверно из-за комплекции, чудный голос - бархатно-мягкое мальчишеское сопрано, на некоторых строчках припева, особенно на "...юххай-расса-а-а-а", будто рассыпающееся серебром. Это называется верхним голосом. Многие уже оглядываются, желая знать, где это звенит такой прозрачный родничок.

Теперь они поют - поскольку, ко всеобщему изумлению, у песни о Колумбе все же сыскался заключительный куплет - песню об урожае: "Я нагрузил тележку с верхом..." А теперь - хотя это, конечно, куда лучше поется вечером: "Страны прекрасней в наше время..." Тут уж Эдди Амзель дает своему сопрано развернуться вовсю. Брунис сосет леденец почти демонстративно и прячет в глазах усмешливые огоньки. Матерн на фоне безоблачного неба все больше мрачнеет. Коляска отбрасывает одинокую тень...

Где же Тулла?

Ее кузен честно отпел шесть куплетов песни о Колумбе. Во время седьмого он смылся. Только запах моря - дурмана костного клея совсем не слышно; просто Август Покрифке со своей женой и глухонемым Конрадом стоят у западных поручней пирса, а ветер с северо-восточного переменялся на восточный. Все Покрифке повернулись к морю спиной. Они поют. Конрад тоже

своевременно, хотя и беззвучно, открывает рот и вытягивает трубочкой губы, и даже когда, без особого успеха, предпринимается попытка исполнить канон "Мастер Якоб, мастер Якоб", он вступает вовремя.

Где же Тулла?

Ее братья Зигесмунд и Александр давно улизили. Ее кузен Харри видит обоих на волнорезе. Они, смельчаки, ныряют с волнореза головой вниз. Зигесмунд разучивает прыжок с переворотом и из стойки на руках. Одежда братьев, придавленная ботинками, лежит тут же, на этом узеньком и ненадежном отростке пирса. Туллы там нет. От причала Глеткау - а при желании можно угадать вдали даже большой Сопотский причал - точно по расписанию отходит прогулочный пароходик. Пароходик весь белый и оставляет за собой длинный шлейф черного дыма - точь-в-точь как корабли на детских рисунках. Те, кто намерен отправиться на пароходике из Брезена в Новую Гавань, столпились на носу пирса с левой стороны, где причал. Где же Тулла? "Юность народа" все еще поет, но их никто уже не слушает, поскольку пароходик все увеличивается в размерах. И Эдди Амзель тоже уже отключил свой верхний голос. Детский барабан, забросив песенные ритмы, подлаживается теперь к тарахтенью корабельной машины: это прогулочный пароход "Щука". Но и прогулочный пароход "Лебедь" выглядит точно так же. Только колесный пароход "Пауль Бенек" выглядит совсем иначе. Во-первых, у него колеса с лопастями; во-вторых, он больше, гораздо больше; а в-третьих, он курсирует между Данцигом-Лангбрюкке, Сопотом, Гдингеном и Хелой, а в Глеткау и в Брезен вообще не заходит. Где же Тулла? Сперва кажется, будто прогулочный пароходик "Щука" вовсе даже и не намерен приставать к брезенскому причалу, но потом он ложится в дрейф и уже вскоре, быстрее, чем думалось, подваливает к пирсу правым бортом. Вода бурлит не только вокруг кормы и носа. Потом, словно в нерешительности, пароходик вдруг останавливается и вспенивает море. Выбрасываются швартовые, скрипят причальные тумбы. Табачно-бурые привальные подушки по правому борту смягчают последний толчок. Всем детям, а также некоторым женщинам очень страшно, потому что "Щука" сейчас загудит. Дети позатыкали уши, пооткрывали рты, трепещут заранее: и тут пароход издает низкий, под конец хрипло захлебывающийся гудок и замирает, принайтованный накрепко. Детвора уже снова лижет вафли с мороженым, но некоторые малыши на пароходе и на пирсе по-прежнему хнычут и затыкают уши, не сводя глаз с трубы, потому что знают: "Щука", прежде чем отчалить, прогудит еще раз и выпустит струю белого пара, который воняет тухлыми яйцами.

Где же Тулла?

Прекрасен белый пароход, когда на нем нет пятен ржавчины. На "Щуке" нет ни единого, только флаг Вольного города и вымпел пароходства "Висла" выгорели и пообтрепались. Одни с борта - другие на борт. Тулла? Ее кузен оглядывается назад: там, на правой стороне пирса, отныне и вовеки стоит детская коляска на четырех высоких колесах. Она отбрасывает скошенную одиннадцатичасовую тень, которая без швов и стыков срастается с тенью перил пирсового ограждения. И к этому путаному теневому узору приближается еще одна тень, тощая и однозначная: это Тулла идет снизу. Она побывала у развешивающихся водорослевых бород, заколдованных рыбаков, тренирующихся мальков. Костлявая, в коротком платьице, она поднимается по лестнице. Острые коленки подкидывают надвязанную кружевную оборку. От лестницы она прямоком устремляется к коляске. Последние пассажиры всходят на борт прогулочного парохода "Щука". Несколько детей все еще - или уже снова - плачут. Тулла сплела руки за спиной. Хотя зимой кожа у нее белая

с голубоватым оттенком, загорает она быстро. Сухой желто-бронзовый, в цвет столярного клея загар резко оттеняет оспинки прививок: один, два, три островка на левом предплечье, каждый величиной с вишенку, мерцают столь мертвенной белизной, что их невозможно не заметить. Каждый пароход привозит чаек и увозит чаек. Правый борт пароходика обменивается с левой стороной причала прощальными словами: "Приезжайте в следующий раз. И не забудьте пленку проявить, нам интересно. И всем передайте от нас привет, слышишь?" Тулла стоит подле пустой детской коляски. Пароход гудит снова - высоко, низко, потом захлебывается. Тулла и не думает затыкать уши. Ее кузен с удовольствием бы заткнул, но не решается. Глухонемой Конрад, стоя между Эрной и Августом Покрифке, смотрит на пенящиеся буруны за кормой парохода, крепко зажав ладонями оба уха. Смятый коричневый бумажный кулек лежит в изножье. Тулла леденцы не трогает. На волнорезе двое мальчишек затеяли схватку с третьим: двое плюхаются в море, сразу же выныривают, все трое хохочут. Старший преподаватель Брунис все-таки взял Йенни на руки. Йенни не знает, заплакать ей или нет, раз уж пароход прогудел. Старший преподаватель и его ученики советуют ей не плакать. Эдди Амзель завязал по углам своего носового платка четыре узла и натянул сооруженную таким способом шапочку на свою лисью шевелюру. Поскольку он вообще выглядит смешно, в носовом платке с узелками он смешно не выглядит. Вальтер Матерн не сводит мрачного взгляда с белого парохода, который, трясась, отваливает от причала. Мужчины, женщины, дети, ватага из "юности народа" с черным выпелом на борту - все машут, кричат, смеются. Чайки кружат, падают, взлетают и, вывернув шеи в полете, глазеют своими черными пуговицами. Тулла Покрифке слегка пинает ногой правое заднее колесо - тень коляски остается почти неподвижной. Мужчины, женщины, дети постепенно отходят от причала, разбредаются. Прогулочный пароход "Щука", нарисовав на небе клубы черного дыма и пыхтя, ложится в дрейф и берет курс на вход в Новую Гавань, сразу начиная уменьшаться в размерах. В ровной глади моря он торит пенную, быстро исчезающую борозду. Не все чайки улетают за ним вслед. Тулла решает действовать: откинув головку с косичками назад, она затем резко выбрасывает ее вперед и плюет. Ее кузен краснеет - отныне и вовеки. Он оглядывается, пытаясь понять, видел ли кто-нибудь еще, как Тулла плюнула в детскую коляску. С левой стороны возле перил пирса торчит трехлетний шкет в матросском костюмчике. Шелковая лента с тисненной золотой надписью обхватила его матросскую фуражку: "Зайдлиц". Кончики ленты бьются на северо-восточном ветру. На груди у него висит детский жестяной барабан. Из его кулачков вырастают деревянные, сильно обшарпанные барабанные палочки. Но он не барабанит, у него голубые глаза, и он наблюдает ими, как Тулла во второй раз плюет в пустую детскую коляску. Сотни летних ботинок, парусиновых туфель, сандалий, прогулочных тросточек и солнечных зонтов приближаются к ней с окончательности пирса, когда Тулла прицеливается плюнуть в третий раз.

Не знаю, был ли кто-нибудь, кроме меня и сына торговца колониальными товарами, свидетелем того, как моя кузина трижды подряд плюнула в пустую детскую коляску Йенни, а затем, худая и злющая, нарочито медленно поплелась в сторону курортного зала.

Дорогая кузина!

Пока что не могу снова не поставить тебя на поблескивающий масляной

краской дощатый настил брезенского морского пирса: в одно из воскресений следующего года, но того же месяца, то есть ветреного и богатого медузами месяца августа, когда мужчины, женщины и дети с пляжными сумками и надувными резиновыми зверями в который раз покидали пыльное предместье Лангфур и направлялись в Брезен, чтобы во множестве расположиться в купальнях и на пляже, чтобы в несколько меньшем количестве прогуливаться по морскому пирсу, в день, когда восемь флагов балтийских городов и четыре флага со свастикой обвисали на двенадцати флагштоках понурыми безжизненными тряпками, потому что над Оксхефтом бушевала морская гроза, когда огненные медузы нещадно жалили, а некусачие медузы распускали в теплой морской воде свои сиреневато-белые зонтики, - в такой вот августовский день Йенни потерялась.

Старший преподаватель Брунис кивнул. Вальтер Матерн вынул Йенни из коляски, а Эдди Амзель недоглядел, когда и как Йенни затерялась в пестрой воскресной толпе. Гроза над Оксхефтом все ширилась. Вальтер Матерн Йенни не нашел. И Эдди Амзель не нашел. Ее нашел я, потому что искал свою кузину Туллу - я всегда искал ее, а находил по большей части Йенни Брунис.

Но в тот день, когда грозовая туча с запада разбухала на глазах, я нашел их обеих, а Тулла к тому же держала за ошейник Харраса, которого я с отцовского дозволения взял с собой.

На одном из мостков, что были проложены под пирсом вдоль и поперек, а точнее, в торце одного из мостков, который заканчивался тупиком, я нашел обеих. Заслоненная балками и подкосами, в своем белом платьице, в неверных зеленоватых отсветах, в полутени - над ней шарканье легких летних туфель, под ней хлюпанье и буханье жадных лижущих волн, - заплаканная, затравленная, пухлощекая, забилась в угол Йенни Брунис. Потому что Тулла ее пугала. Тулла приказывала нашему Харрасу лизать Йенни в лицо. А Харрас Тулле слушался.

- Скажи "говно", - приказала Тулла, и Йенни покорно повторила.

- Скажи: "Мой отец всегда пердит", - приказала Тулла, и Йенни пришлось признать то, что старший преподаватель иногда действительно совершал.

- Скажи: "Мой брат повсюду все ворует", - не унималась Тулла.

Но тут Йенни неожиданно возразила:

- Но у меня нет никакого брата, правда же нет.

Тогда Тулла своей длинной тощей рукой выудила из-под мостков и подняла наверх тряскую некусачую медузу. Ей пришлось обеими пригоршнями держать этот слизистый белесый студень, к центру которого сходились от краев бугристые подушчатые наросты и голубовато-фиолетовые, в узелках, прожилки.

- Ты сейчас же это съешь, и чтобы ничего не осталось, - распорядилась Тулла. - Она совсем безвкусная, ешь давай.

Йенни не шелохнулась, и тогда Тулла показала ей, как надо есть медузу. Она со вкусом втянула в себя примерно две столовых ложки студенистого желе, почавкала им во рту и потом выпустила из щели между двумя верхними резцами струйку медузной кашицы чуть ли не Йенни в лицо. Высоко над пирсом грозовая туча уже надкусила солнце.

- Теперь ты видала, как это делается. Делай сама.

Лицо Йенни стало растягиваться в плаксивую гримасу. Тулла пригрозила:

- Или я собаку...

Но прежде чем Тулла смогла натравить нашего Харраса на Йенни - он бы, конечно, ничего страшного с ней не сделал, - я свистнул Харраса к ноге. Он подчинился не сразу, но затем все же подставил мне загривок с ошейником. Теперь я его держал. В небе, пока еще далекий, прокатился гром. Тулла, совсем рядом, плюхнула остатки медузы мне на рубашку, протиснулась мимо и была такова. Харрас рванулся за ней. Два раза мне пришлось крикнуть "Стоять!". Левой рукой я придерживал собаку, правой взял Йенни за ручку и повел ее на предгрозовую пирс, где старший преподаватель Брунис и его ученики уже метались между вспугнутыми грядущим ненастьем воскресными гостями, искали Йенни, кричали "Йенни!" и уже подозревали самое худшее.

Еще до первого порыва ветра администрация курорта успела спустить все двенадцать флагов - восемь разных и четыре одинаковых. Папаша Брунис держал коляску за ручку: коляска подрагивала. Первые капли уже отделились от туч. Вальтер Матерн усадил Йенни в коляску - дрожь не унялась. И даже когда мы уже укрылись в сухом месте и старший преподаватель Брунис дрожащими пальцами выдал мне три мятных леденца, коляска все еще продолжала мелко трястись. Гроза, этот передвижной театр, с помпой унеслась дальше.

Моей кузине Тулле

однажды на том же пирсе пришлось пронзительно кричать. Тогда мы уже умели писать наши имена. Йенни уже не возили в детской коляске, она, как и все мы, ножками-ножками топала в школу имени Песталоцци. В свой срок наступили каникулы с детскими проездными билетами, купальным сезоном и вечно новым брезенским морским пирсом. На двенадцати флагштоках в ветреную погоду теперь трепетали шесть флагов Вольного города Данцига и шесть флагов со свастикой, эти последние принадлежали уже не курортной администрации, а Брезенскому комитету партии. И прежде чем каникулы кончились, однажды утром, в одиннадцать с чем-то, утонул Конрад Покрифке.

Твой брат, твой кудряш. Тот, что смеялся беззвучно. Пел со всеми. Все понимал сразу. Не будет больше разговоров руками: локоть, лоб, нижнее веко, два скрещенных пальца возле уха, два пальца прижавшись, щека к щеке: Тулла и Конрад. Теперь только один выставленный палец, потому что под волнорезом...

Все му виной зима. От ее льдов, оттепелей, плавучих торосов и февральских штормов брезенскому пирсу крепко досталось. И хотя курортная администрация более или менее его подновила - выкрашенный в белую краску, щеголяя новенькими флагштоками, пирс и впрямь сиял как на параде, - но часть старых опор, обломанных глубоко под водой льдом и тяжелыми штормовыми валами, осталась коварно торчать на дне, что и обрекло Туллиного младшего брата на гибель.

Хотя купаться с волнореза в тот год было запрещено, мальчишек, которые приплывали сюда с пляжа и использовали волнорез как вышку для прыжков, хватало с лихвой. Зигесмунд и Александр Покрифке младшего брата с собой не взяли; но он поплыл за ними сам, по-собачьи, всю бултыхая руками и ногами, - правильно плавать он еще не умел, но на воде держался уверенно. Втроем, все вместе, они прыгнули с волнореза, наверно, раз пятьдесят и столько же раз благополучно вынырнули. Потом они вместе прыгнули еще семнадцать раз, а вот вынырнули все втроем лишь шестнадцать. Никто бы, возможно, так сразу и не заметил, что Конрад не выплывает, если бы наш Харрас не поднял тревогу. С пирса он следил за прыжками и теперь, одного из братьев недосчитываясь, начал носиться по волнорезу

взад-вперед, неуверенно таякая в разные стороны, пока вдруг не сел и не завыл, задрал морду к небу.

В это время к причалу как раз приставал прогулочный пароходик "Лебедь"; однако весь народ сгрудился на правой стороне пирса. И только мороженщик, до которого всегда доходило после всех, продолжал монотонно выкрикивать свое: "Ванильное, лимонное, клубничное, крушон, ванильное, лимонное..."

Только ботинки успел скинуть Вальтер Матерн и тут же, головой вниз, сиганул прямо с перил пирса. И точно против того места, которое наш Харрас указывал сперва воем, потом скребя по краю волнореза лапами, он нырнул. Эдди Амзель держал ботинки своего товарища. Тот показался на миг из воды и тут же нырнул снова. К счастью, Йенни ничего этого не видела: господин старший преподаватель отдыхал с ней в тени деревьев в курортном парке. Лишь когда Зигесмунд Покрифке и еще один мужчина, но не из спасательной команды, поочередно стали помогать Матерну, им удалось вытащить глухонемого Конрада, чью голову заклинило между двумя короткими, как пеньки, обрубками сломанных свай.

Только его уложили на мостки, откуда ни возьмись объявился спасатель с кислородной маской. Пароходик "Лебедь" во второй раз подал голос и продолжил свой маршрут по пляжам и купальням бухты. Никто не догадывался заткнуть мороженщика: "Ванильное, лимонное, клубничное..." Лицо у Конрада посинело. Ладони и ступни были желтые, как у всех утопленников. Правое ухо, застрявшее между сваями, порвалось возле мочки: из него сочилась на доски светлая, алая кровь. Глаза его не хотели закрываться. Его кудри так и остались кудрями. Вокруг него, который теперь, утопленником, казался еще меньше, чем был при жизни, расплзалась лужа воды. Покуда предпринимались попытки оживления - они еще долго, согласно инструкции, прикладывали ему к лицу кислородную маску, - я зажимал Тулле рот. Когда маску наконец убрали, она впилась зубами в мою ладонь, а потом, перекрывая позывные мороженщика, зашлась долгим, пронзительным, до самого неба достигающим криком, потому что ей уже не придется больше часами беззвучно беседовать с Конрадом - знаком двух пальцев, щека к щеке, пальцами ко лбу и особым знаком любви, не придется ни в укромном деревянном сарае, ни в прохладной тени пирса, ни тишком-тайком в крепостном рву на окраине, ни у всех на виду и все же ото всех по секрету - на людной Эльзенской улице.

Дорогая Тулла!

У твоего крика, видимо, долгое дыхание: он и сегодня гнездится в моем слухе, сохраняя все тот же, один-единственный, пронзительный и высокий, до неба достигающий тон.

Ни в следующее, ни через одно лето нашего Харраса никакими силами на волнорез было не затащить. Он оставался при Тулле, которая даже на пирс не заходила. Это их единодушие, впрочем, имело свою предысторию.

Летом того же года, только немного до того, как глухонемой Конрад Покрифке утонул во время купания, Харрасу пришла повестка на вязку. В полиции родословная пса была известна, поэтому раз, а когда и два раза в год оттуда по почте приходило извещение, подписанное лейтенантом полиции по фамилии Мирхау. Отец никогда не отказывал этим посланиям, неизменно составленным в почти приказном тоне: во-первых, он и вообще, и как сто-

лярных дел мастер в особенности не хотел никаких неприятностей с полицией; во-вторых, вязка, если в ней задействован такой кобель, как Харрас, каждый раз приносила довольно кругленькую сумму; а в-третьих, для отца эти приглашения были предметом нескрываемой гордости за его собаку; когда оба они торжественно отправлялись на "оплачиваемую владельцем одной из сторон случку", можно было подумать, что это отца, а не Харраса пригласили на столь ответственное мероприятие.

На сей раз и мне, хотя и непросвещенному, но и не совсем несведущему, впервые было дозволено их сопровождать. Отец, невзирая на жару, в костюме, который он еще надевал разве что по случаю собрания столярной ремесленной гильдии. Темно-серая жилетка солидно облегла его живот. Из-под велюровой шляпы он извлек светло-кофейную сигару "Фельфарбе" по пятнадцать пфеннигов за штуку. Едва Харраса отцепили от будки и надели на него намордник - как-никак в полицию шли, - он жадно рванул с места, очередной раз выказывая свой давний порок: неважное хождение на поводке. Поэтому на Верхнештрисской улице мы были гораздо раньше, чем об этом можно было бы заключить по солидному остатку отцовской сигары.

Верхнештрисская улица - это та, что от Главной Лангфурской идет на юг. По левую руку двухэтажные, на две семьи, коттеджи, в которых жили полицейские со своими семьями; по правую мрачные кирпичные казармы, построенные еще для маккензенских гусаров, а теперь приютившие в себе полицейские службы. В начале Пелонкерского прохода, почти нехоженой, даже без таблички, аллеи - зато, правда, со шлагбаумом и караульной будкой, - мой отец, даже не потрудившись снять шляпу, показал письмо лейтенанта полиции. И хотя отец прекрасно знал дорогу, вахмистр повел нас через усыпанные гравием казарменные дворы, где полицейские в светло-серых тиковых гимнастерках либо упражнялись, либо стояли полукругом перед начальником. В соответствии с уставом все рекруты руки держали за спиной, и со стороны казалось, будто они слушают доклад. Береговой ветер выдувал из закута между полицейским гаражом и полицейским спортзалом островерхие блуждающие бурунчики пыли. Вдоль нескончаемых конюшен конной полиции полицейские рекруты преодолевали полосу препятствий, торопясь перемахнуть через стенки и рвы с водой, проползти под бревнами и проволочными заграждениями. Все казарменные дворы были обсажены молоденькими, в детскую руку толщиной, липами, что боязливо жались к подпоркам-штaketинам. Далее нам порекомендовали взять Харраса на короткий поводок. На небольшом каре - справа и слева слепые стены складов, напротив еще какое-то приземистое здание - дрессировали десяток или, может, дюжину овчарок: приучали их подходить к ноге, делать стойку, приносить поноску, подавать голос, преодолевать, подобно рекрутам, стенку и под конец, после основательной, с низким носом, работы по следу, нападать на полицейского, который, будучи переодетым в арестанта, но во всем ватном, изображал классическую попытку к бегству. Вполне приличные собаки, но с Харрасом ни одну не сравнить. Все металлически- или пепельно-серой масти с белыми отметинами, либо палево-желтые с черным крупом, либо темно-дымчатые со светло-коричневым подшерстком. На площадке воздух звенел от команд и дрессированного, раздельного собачьего лая.

В канцелярии полицейского питомника служебных собак нам пришлось подождать. Лейтенант Мирхау носил прямой, как по шнурку, пробор слева. Харраса увели. Лейтенант Мирхау обменялся с отцом парой слов из разряда тех, которыми только и могут обмениваться столярных дел мастер и лейтенант полиции, ненадолго оказавшись в одном помещении. Затем голова Мирхау

склонилась над работой. Его пробор - видимо, лейтенант просматривал рапорты - бегал за строчками. В кабинете, по обе стороны двери, было два окна. Через них можно было бы посмотреть на дрессировку полицейских собак во дворе, не будь окна до верхней трети закрашены. На белой стене, той, что напротив окон, висели две дюжины фотографий в узкой черной окантовке. Все были одного формата и обрамляли двумя пирамидальными группами - в нижнем ряду шесть фотографий, в среднем четыре, в верхнем две - еще одну, центральную, более крупную и вертикального формата, тоже окантованную черной рамкой, но пошире. На всех двадцати четырех пирамидально размещенных фотографиях были изображены овчарки, идущие подле полицейского по команде "рядом". С большой фотографии в центре смотрело лицо престарелого человека в островерхой каске. Во взгляде из-под набрякших век сквозила усталость. Я, видимо, слишком громко спросил, кто это такой. Не поднимая головы и пробора, лейтенант ответил, что это Президент Рейха и чернильную надпись на фотографии этот пожилой господин сделал собственноручно. Но и фотографии собак с полицейскими тоже пестрели понизу убористыми чернильными надписями: вероятно, там были зафиксированы клички собак, сведения об их родословной, имена, фамилии и звания полицейских, а еще, наверно, поскольку это были явно полицейские собаки, и отличия этих собак и приставленных к ним полицейских за годы службы, равно как и фамилии и клички взломщиков, контрабандистов, бандитов, взятых с помощью той или иной овчарки...

Позади письменного стола, за спиной у лейтенанта Мирхау, стену украшали, тоже в симметричном порядке, шесть с моего стула неудобочитаемых документов, каждый в рамке и под стеклом. Судя по шрифту и разновеликости отдельных строчек, это могли быть только грамоты - выписанные витиеватыми готическими буквами, с золотым тиснением, с величественными "шапками" вверху и печатями внизу. Вероятно, собаки, проходившие службу в полиции и выдрессированные в этом питомнике, занимали на каких-то важных соревнованиях полицейских собак - или правильней сказать собак полиции? - первые, вторые, ну, может, и третьи места. На письменном столе, справа от склоненного, медленно поспевающего за продвижением работы пробора, стояла в ненатуральной позе, ростом со среднюю таксу, бронзовая, а может, крашеная гипсовая овчарка, у которой, как с первого взгляда мог определить любой собачник, стойка была коровья, а круп слишком резко ниспадал к корню хвоста.

Несмотря на всю кинологию, пахло в канцелярии полицейского питомника служебных собак вовсе не собаками, а скорее известкой; канцелярию недавно побелили, к тому же и от шести или семи гераней, что красовались на подоконниках, исходил кисловатый, нежилой дух; отец из-за этого громко расчихался, и мне было за него неудобно.

Добрых полчаса спустя привели Харраса. По нему ничего не было видно. Отец получил двадцать пять "вязочных" гульденов и нежно-голубое свидетельство о вязке, текст которого отмечал важные подробности случки, такие, как "немедленную и радостную готовность кобеля к покрытию", а также сообщал номера двух записей в племенную книгу. Лейтенант Мирхау сплюнул в белую эмалированную плевательницу, красовавшуюся возле задней левой ножки его письменного стола, чтобы навсегда врезаться в мою память, затем вяло откинулся на спинку стула и сказал, что об окончательных результатах нас известят. Остаток вознаграждения за вязку, если и как только успешность таковой обозначится, он, как обычно, распорядится перевести по почте.

На Харрасе уже снова был намордник, отец уже получил в руки свидетельство о вязке и пять бумажек по пять гульденов, мы уже были в дверях, когда Мирхау еще раз оторвал пробор от своих рапортов:

- Вам надо лучше следить за животным. Хождение на поводке безобразное. В родословной, по-моему, достаточно ясно сказано, что животное в третьем поколении происходит из Литвы. Того и гляди не сегодня завтра мутация начнется. У нас тут уже всякое бывало. И вообще: собаководу Матерну следовало лично проследить за случкой суки Сенты с мельницы Луизы и кобеля Плутона из Нойтайха и выписать официальное подтверждение. - Внезапно его палец уткнулся в меня. - И не слишком доверяйте животное детям! У животного заметны первые признаки одичания. Нам-то все равно, но у вас потом могут быть неприятности.

Это не тебя,

это меня имел в виду лейтенантский палец. Хотя именно ты портила Харрасу выучку.

Тулла, тощая, костлявая. В любую дырку в любом заборе. Комочком под лестницей, кубарем с лестницы, волчком по лестничным перилам.

Лицо Туллы, в котором большие, к тому же обычно с засохшим ободком, ноздри - она и говорила через нос - были важнее всего и превосходили выразительностью даже близко посаженные глаза.

Туллины содранные, потом в стружьях, заживающие, снова рассаженные колени.

Туллин дурман, дурман костного клея, ее куколки из плиток столярного клея, ее парики из стружек, которые один из подмастерьев специально строгал для нее из длинного бруса.

Тулла могла делать с нашим Харрасом все, что хотела; и она делала с ним все, что ей вздумается. Наш пес и ее глухонемой брат долгое время были, по сути, ее свитой, тогда как мне, сгоравшему от желания в свите состоять, дозволялось лишь ходить следом и лишь издали вдыхать дурман костного клея, даже когда я нагонял ее на речушке Штрисбах, у акционерного пруда, на Фребельском лугу, на кокосовом складе маргаринной фабрики "Амада" или в крепостном рву; ибо если моя кузина достаточно долго подлизывалась к моему отцу - а подлизываться Тулла умела, - ей разрешалось брать Харраса с собой. В Оливский лес, к реке Саспе и за Родниковые поля, напрямик через лесные склады за Новым Городком и на брезенский морской пирс - повсюду Тулла водила нашего Харраса, пока глухонемой Конрад не утонул во время купанья.

Тулла кричала пять часов кряду,

а потом будто сама стала глухонемой. Два дня подряд, покуда Конрада не предали земле на Объединенном кладбище, в аллее Гинденбурга, она неподвижно провалилась на кровати, возле кровати, под кроватью, хотела совсем сжаться в комочек, а на четвертый день после смерти Конрада вдруг переселилась в собачью конуру, что стояла у нас возле торцевой стены дровяного сарая и вообще-то предназначалась только для Харраса.

Но, как выяснилось, места в конуре хватило обоим. Они лежали рядышком. Или Тулла лежала в конуре одна, а Харрас ее сторожил, улегшись поперек входа. Впрочем, подолгу это не продолжалось, так что вскоре оба уже снова лежали вместе, бок о бок, в конуре. Харрас покидал будку лишь для того, чтобы обрычать и наспех облаять очередного поставщика, принесшего обивку для дверей или пыльные диски; и когда ему приспичивало поднять лапу или выдавить из себя свою колбаску, когда его тянуло к миске с едой или площадке с водой - только тогда Харрас ненадолго покидал Туллу,

чтобы потом спешно и задом - повернуться в конуре он теперь мог лишь с трудом - втиснуться в свое теплое логово. Он спускал с порога конуры свои скрещенные лапы, она свои тоненькие, шпагатом перехваченные косички. Солнце нагревало над ними рубероид крыши собачьей будки, или они слушали, как по этому рубероиду стучит дождь; а когда они не слышали дождя, тогда, возможно, слышали говорок фрезы, гул выпрямителя, воркотню строгального станка и истеричный, лишь ненадолго опадающий, чтобы потом взвиться с удвоенным накалом, вой дисковой пилы, которая, впрочем, не прекращала эти свои взлеты и падения даже в дождь, когда капли барабанили по стеклу и во дворе столярной мастерской всегда на одних и тех же местах натекали лужи.

Лежали они на опилках. В первый день к конуре подходили мой отец и мастер по машинам Дрезен, с которым отец в нерабочее время был на ты. В своих деревянных башмаках приходил Август Покрифке. Эрн Покрифке пришла в шлепанцах. Моя мать не приходила. Все говорили примерно одно и то же: "Ну хватит, выходи, вставай и брось дурить". Но Тулла не выходила, не вставала и дурить не бросила. У всякого же, кто пытался переступить незримую черту вокруг собачьей будки, эта охота пропадала на первом же шагу: из конуры - хотя Харрас даже не менял положения скрещенных передних лап - раздавался нарастающий рык, и ничего хорошего он не сулил. Урожденные кошनावеры и уже почти коренные лангфурцы, съемщики трехкомнатных квартир в нашем доме, обменивались с этажа на этаж следующим соображением: "Сама вылезет, когда надоеет и когда поймет, что через такую дурь никакого Конрада ни в жисть не воскресить".

Но Тулла не понимала,

не вылезала, и на исходе первого дня ей в собачьей конуре ничуть не надоело. Вдвоем они лежали на опилках. Опилки каждый день меняли. Менял их вот уже много лет Август Покрифке, и Харрас эту услугу ценил. Таким образом, из всех, кто в эти дни суетился вокруг Туллы, папаша Покрифке оказался единственным, кому было дозволено с корзиной ядреных, крупных опилок в руках приблизиться к будке. Совок и метлу он зажал под мышкой. Как только Август Покрифке со всем этим добром направился к конуре, Харрас сам, без просьб и понуканий, из нее вылез и зубами, сперва легонько, потом сильнее потянул Туллу за платье, пока и та не выползла на свет божий и не уселась возле конуры на корточках. Так же, на корточках, но никого не видя, с глазами, закатанными так, что мерцали одни белки - "с задернутыми занавесками", - она помочилась. Не перечая, скорее безучастно, она дожидалась, когда Август Покрифке поменяет опилки и выложит ту порцию своих доводов, на которую он как отец оказался способен:

- Ну, давай поднимайся. Тебе скоро в школу, хоть сейчас покамест каникулы. Ишь, чего учудила. Думаешь, мы нашего мальчика не любили? И хватит чуркой-то прикидываться. А то заберут тебя вон в сумасшедший дом, будут там мытарить с утра до ночи. Решат еще, что ты совсем дурочка. Ну, поднимайся! Вон темнеет уже. Мама оладьи поставила. Пойдем, а то забегут...

Первый день Туллы в собачьей конуре завершился так:

она в конуре осталась. Август Покрифке спустил Харраса с цепи. Разными ключами он запер дровяной сарай и сарай для хлама, машинный цех и контору, где хранились фанера и дверная обивка, пыльные диски и плитки костного клея, затем вышел со двора мастерской и калитку во двор тоже запер; и едва он ее запер, как тут же стало темнеть, и темнеть быстро. И сделалось так темно, что в щель между занавесками кухонного окна уже

нельзя было различить крышу конуры, хотя вообще-то на фоне светлой стены дровяного сарая ее было хорошо видно...

Во второй день в собачьей конуре,

это было во вторник, Харрасу уже не пришлось тянуть Туллу за подол, когда Август Покрифке пришел менять опилки. Тулла даже начала принимать пищу, то есть стала кормиться с Харрасом из одной миски после того, как Харрас отволок ей в конуру большой, совсем без костей, кусок несортového мяса и пробудил аппетит своей прохладной, подталкивающей мясо мордой.

Впрочем, это несортové мясо было вовсе не таким уж плохим. Чаще всего это были ошметки говядины, которые большими порциями варились на плите у нас на кухне всегда в одной и той же эмалированной кастрюле ржаво-коричневого цвета. Мы все, Тулла, и ее братья, и я тоже, голой рукой и без всякого хлеба "для сытости", это мясо не однажды ели. Холодное и тяжелое, оно было очень вкусное. Перочинными ножами мы нарезали его на кубики. Варилось мясо два раза в неделю, было плотное, серо-коричневое, продернутое бледно-голубыми хрящами, прожилками и сочными, пускающими воду полосками жира. Вкус у мяса был сладковатый, немножко мыльный, запретный. После этих мраморных кубиков - играя, мы порой набивали ими оба кармана - во рту еще долго оставался сытный, жирный привкус. И говорили мы после них иначе: из глубины глотки, четырехлапо, по-звериному, мы даже рычали и лаяли друг на друга. Это блюдо мы предпочитали многим из тех, что подавались на стол у нас дома. Мы называли это мясо "собачьим мясом". Даже если это была не говядина, то уж в любом случае или конина, или баранина от срочного убоя. Целую горсть соли, не обычной, а грубого помола, бросала моя мать в эмалированную кастрюлю, один за другим опускала в кипящую соленую воду продолговатые, в две ладони длиной, ошметья мяса, давала ему как следует вскипеть, добавляла майоран, потому что он вроде бы полезен для собачьего чутья, затем убавляла газ, накрывала кастрюлю крышкой и в течение часа больше к ней не притрагивалась; ибо именно столько надо было готовиться говяжьему-лошадиному-бараньему мясу, чтобы превратиться в собачье мясо, которое ел Харрас и ели мы, которое всем нам, и нам, и Харрасу, позволяло с помощью майорана развивать в себе тонкое чутье. Это был старый кошнадерский рецепт. Повсюду между Остервиком и Шлангентином говорили так: "Майоран дает красоту". "Майоран деньги приращивает". "Чтоб черта не видать в лицо, сыпь майорану на крыльцо". Своим замечательным, на майоране вскормленным чутьем славились длинношерстные и низкорослые кошнадерские пастушьи собаки.

В редкие дни, когда в лавке не было несортového мяса, кастрюлю заполняла требуха: обросшие узлами жира бычьи сердца, вонючие, потому что не вымоченные, свиные почки и маленькие бараньи, которые моей матери приходилось извлекать из плотной, в палец толщиной, оболочки сала с подкладкой из хрустящей пергаментной кожицы; это сало топили на чугунной сковороде, и потом оно шло в стряпню, на жарку, потому что сало с бараньих почек будто бы хорошо предохраняет от туберкулезной напасти. Иногда в кастрюле переваливался и кусок темной, с багровыми и фиолетовыми переливами селезенки или жилистый обрезок говяжьей печени. А вот легкое, на варку которого требовалось больше времени, больших размеров кастрюля, и уваривалось оно очень сильно, в эмалированную кастрюлю не попадало почти никогда, разве что несколько раз летом, когда с мясом бывало неважно из-за того, что в Кошубии и в Кошнадерии свирепствовал ящур. Вареную требуху мы никогда не ели. Только Тулла тайком от взрослых, но у нас на глазах - вытянув шею, мы за ней подглядывали - жадными большими глотками

пила коричнево-серый отвар, в котором плавали свернувшиеся хлопьями пенки от почек, образуя вместе с черноватым майораном причудливые пушистые островки.

На четвертый день в собачьей конуре

Туллу, поскольку школа еще не началась, по совету соседей и врача, которого вызывали в нашу мастерскую при несчастных случаях, решено было оставить в покое; я, когда все еще спали - даже машинного мастера, который всегда приходил раньше всех, еще не было, - принес ей полную миску отвара из кастрюли с требухой: почками, сердцами, селезенкой и печенью. Отвар в миске был холодный, потому что Тулла любила пить отвар холодным. Затверделый слой жира - смесь говяжьего и бараньего сала - укрывал содержимое миски, как лед озеро. Только по краям проглядывало мутное варево, выплескиваясь на жирный панцирь аккуратными шариками. Еще в пижамах, я ступал осторожно, за шагом шаг. Ключ от калитки я снял со щитка тихо-тихо, чтобы другие ключи не звякнули. Почему-то рано утром и поздно вечером все лестницы скрипят. На плоской крыше дровяного сарая воробьи уже начали. В конуре никаких признаков. Но уже пестрые мухи на рубероиде в косой полосе утреннего солнца. Я отважился дойти до изрытого лапами полукруга, граница которого заметной канавкой и подобием насыпи обозначала пределы досягаемости собачьей цепи. В конуре покой, тьма и никаких мух. Потом, наконец, во тьме какое-то движение: волосы Туллы, все в опилках. Голова Харраса лежала на лапах. Губы сомкнуты. Уши почти не подрагивают, но только почти. Несколько раз я позвал, но голос мой, видно со сна, был почти не слышен, я сглотнул и позвал громче:

- Тулла! - И назвал на всякий случай себя. - Это Харри, посмотри, что я тебе принес.

Я всячески старался привлечь внимание к миске с отваром, пробовал причмокивать, потом тихо свистел и цокал, будто я не Туллу, а Харраса хочу выманить из конуры.

Когда никто, кроме пестрых мух, щебечущих воробьев и низкого солнца, ни малейшего движения не обнаружил и даже ухом не повел - Харрас, впрочем, повел и даже один раз сладко зевнул, но глаз упорно не открывал, - я поставил миску на край полукруга, точнее сказать, утвердил миску прямо в канавку, вырытую передними лапами собаки, и, не оглядываясь, пошел обратно в дом, оставляя за спиной воробьев, пестрых мух, выползающее солнце и конуру.

Тут как раз и машинный мастер просунул свой велосипед в калитку. Он спросил, но я не ответил. Наши окна были еще все занавешены. Сон у отца был спокойный и доверчивый - он доверял будильнику. Я пододвинул к кухонному окну табуретку, прихватил горбушку черствого хлеба, горшочек со сливовым муссом, раздвинул туда-сюда занавески, обмакнул горбушку в мусс, уже впился и начал откусывать - тут из конуры выползла Тулла. Даже за порогом конуры она осталась на четвереньках, неуклюже встряхнулась, сбрасывая с себя опилки, поползла, спотыкаясь и тыркаясь, к границе собачьего полукруга, наткнулась, не доходя до двери сарая, на канавку и насыпь, как-то боком, от бедра, повернулась, еще раз стряхнула с себя опилки - теперь на ее бело-голубом байковом платице даже можно было угадать узор в клеточку, - зевнула в сторону двора, там стоял в тени, только по краешку шляпы задетый косым утренним солнцем, машинный мастер подле своего велосипеда, скручивал сигарету и смотрел в сторону конуры, в то время как я, с горбушкой и при муссе, сверху смотрел на Туллу, конуру опуская, только с Туллы не сводя глаз, с нее и ее спины. Тулла меж

тем вяло и сонно, свесив голову и космы, поползла вдоль канавки и остановилась, все еще не поднимая головы, на уровне коричневой глазурованной фаянсовой миски, содержимое которой покрывал аккуратный, целенький кружок жира.

Все то время, что я наверху замер, не жуя, все то время, что мастер, чья шляпа все больше и больше выползала из тени на свет, обеими руками пытался закурить свою кульком свернутую цыгарку - три раза у него отказала зажигалка, - Тулла стояла, уткнувшись лицом в песок, потом медленно и опять как-то от бедра повернулась, не поднимая головы со спутавшимися, в опилках, волосами. Когда ее лицо оказалось над кружком жира, кружок этот, будь он зеркальцем и отразился в нем это лицо, обмер бы от ужаса. Да и я, сидя наверху, все еще не решался жевать. Едва заметно Тулла переместила вес своего тела с обеих рук на одну левую, покуда левая ее кисть, опирающаяся на землю, совсем не исчезла из моего поля зрения, скрывшись за ее туловищем. И в тот же миг, откуда ни возьмись, ее правая рука уже потянулась к миске - только тогда я снова окунул свою горбушку в сливовый мусс.

Машинный мастер размеренно курил, прислонив цыгарку к нижней губе и пуская дым вверх, где его выхватывало из тени лучами низкого солнца. Туллина напрягшаяся левая лопатка выпирала под бело-голубой клетчатой байкой. Харрас, не поднимая головы с передних лап, медленно приоткрыл сперва правый, потом левый глаз и посмотрел на Туллу; она выставила правый мизинец - он медленно, одно за другим, прикрыл оба века. Теперь, когда солнце тронуло оба его уха, в темном нутре конуры были видны промельки вспыхивающих и исчезающих мух.

Покуда солнце взбиралось по небу, а где-то по соседству горланил петух - кур в округе держали, - Тулла приставила правый мизинец точнехонько к середке жирного круга и с неспешной осторожностью принялась буравить в нем дырку. Я отложил горбушку. Машинный мастер сменил опорную ногу, снова упрятав лицо в тень. Это я хотел видеть - как Туллин мизинец пробуравит застывшую корку и провалится в отвар, отчего корка сразу пойдет трещинами; но я не увидел, как Туллин мизинец проваливается в отвар, и кружок жира не пошел прихотливыми трещинами, а в целости и сохранности, желтоватым кругляшом, прилепился к Туллиному мизинцу и так извлекся из миски. Она высоко подняла этот целехонький, с крышку пивного бочонка величиной, диск, замахнулась от плеча, тряхнув в семичасовом утреннем небе волосами и опилками, присовокупив к замаху жутковатый прищур сморщенного не детского лица, и запустила его во двор, в направлении машинного мастера: там, в песке, он разлетелся на куски сразу и безвозвратно, распался в пыли ломтями, а некоторые осколки, превратившись в жирные песочные шарики, вырастая по пути, точно маленькие снежные комья, докатились до самых ног молча дымящего машинного мастера и до колес его велосипеда с новым велосипедным звонком.

Когда мой взгляд от разбитого кружка жира возвращается обратно к Тулле, она, костлявая и прямая, но по-прежнему как ледышка, стоит на коленях в лучах солнца. Все пять пальцев левой затекшей руки она сжимает и разжимает во всех их трех суставах. На раскрытой правой ладони она держит доньшко миски и медленно подносит край миски ко рту. Она не пригубливает, не пробует, не рассоливает. Не отрываясь, в один присест Тулла пьет отвар из сердца, селезенки, почек, печени со всеми его косматыми пенками и прочими маленькими радостями, с крошечными хрящиками с самого дна, с кошнадерским майораном и свернувшимися сгустками почечной крови.

Тулла пьет до дна: подбородок толкает вверх миску. Миска тянет за собой руку, прилепившуюся ко дну, втаскивая ее в косые лучи солнца. Открывается и все больше вытягивается запрокинутая шея. Голова с копной волос и опилками в волосах плавно ложится на загривок и замирает. Близко посаженные глаза остаются закрытыми. Туллин бледный, тощий, хрящеватый детский кадык работает до тех пор, пока миска не ложится на ее лицо, а рука, отпустив доньшко, не перестает затенять миску от солнца. Перевернутая миска закрывает собой прищуренные глаза, отороченные коростой ноздри, наконец-то утоленный рот.

По-моему, я был счастлив тогда, сидя в пижаме у нашего кухонного окна. От сливового мусса зубы у меня заиндевели. В спальне родителей настырный будильник приканчивал отцовский сон. Внизу машинному мастеру пришлось прикурить еще раз. Харрас приподнял веки. Тулла позволила миске скатиться с лица. Миска упала на песок. Она не разбилась. Тулла медленно опустила на обе руки. Несколько крупных опилок, выплюнутых сварливой фрезой, лежали перед ней желтыми крошками. Как и прежде, от бедра, она повернулась примерно на девяносто градусов и вползла - грузно, тягуче, сыто - в косую солнечную полосу, дотащила солнце на спине до конуры, на пятачке перед лазом в конуру развернулась и задним ходом, свесив голову и волосы, вместе с плоским, золотящим волосы и опилки солнцем, протиснулась внутрь.

Только тут Харрас снова закрыл глаза. Вернулись пестрые мухи. Мои заиндевелые зубы. Его черный, встопорщенный вокруг ошейника воротник, который никаким светом не высветлить. Утренняя возня моего встающего отца. Воробьи вразброс вокруг пустой миски. Клочок ткани, бело-голубой, в клеточку. Пряди волос золотистое мерцание опилки лапы мухи уши сон утреннее солнце: рубероид нагревался и начинал пахнуть.

Машинный мастер Дрезен тронул наконец велосипед и повез его к полужастекленной двери машинного цеха. На ходу он медленно качал головой - слева направо и справа налево. В машинном цехе его ждали дисковая пила, ленточная пила, фреза, выпрямитель и строгальный станок - остывшие и изголодавшиеся. Отец в туалете сосредоточенно кашлял. Я тихонько сполз с кухонной табуретки.

К вечеру пятого дня Туллы в собачьей конуре,

в пятницу, столярных дел мастер попытался стронуть Туллу с места. Его пятнадцатипфенниговая сигара "Фельфарбе" торчала по отношению к его добропорядочному лицу под прямым углом и каким-то образом скрадывала - отец стоял в профиль - выпуклость его пуза. Этот статный человек сперва угаривал Туллу по-хорошему. Доброта - лучшая приманка. Потом он заговорил требовательней, раньше времени уронил столбик пепла с дрогнувшей сигары, отчего выпуклость пуза сразу обозначилась резче. Он пригрозил наказанием. Когда он переступил полукруг, радиус которого был отмерян собачьей цепью, и вынул из карманов свои сильные мастеровые руки, Харрас в брызгах опилок вылетел из конуры, натянул цепь и передними лапами бросил всю свою смоляную черноту прямо столярных дел мастеру на грудь. Мой отец покачнулся назад и побагровел с лица, на котором все еще, но уже не слишком отчетливо различался остаток сигары. Он схватил обрешеточную рейку из тех, что стояли возле пильных козел, но Харраса, который без всякого лая упруго испытывал цепь на разрыв, бить не стал, предпочел опустить свою мастеровую руку с рейкой, а отлупил лишь полчаса спустя, и не рейкой, а голой рукой, ученика Хоттена Шервинского, потому что Хоттен Шервинский, согласно рапорту машинного мастера, своевременно не чистит и не

смазывает фрезу; кроме того, утверждалось, что вышепоименованный ученик присвоил дверные петли и килограмм дюймовых гвоздей.

Следующий день Туллы в собачьей конуре,

уже шестой, был субботним. Август Покрифке в своих деревянных башмаках составил вместе пыльные козлы, убрал Харрасовы кашки и принялся подметать и разрыхлять граблями двор, оставляя на песке не то чтобы безобразные, а просто глубокие и незамысловатые узоры. С ожесточением он снова и снова водил граблями возле опасного полукруга, отчего взрыхленный песок в этом месте становился все темней. Тулла не показывалась. Писала она, когда ей приспичивало - а она привыкла мочиться примерно раз в час, - прямо в опилки, которые Август Покрифке каждый вечер так и так менял. Однако вечером шестого Туллиного дня в собачьей конуре он не рискнул обновить опилочное ложе. Как только он в своих стоеросовых деревянных башмаках, с совком и березовым веником, с корзиной, полной мельчайших опилок из-под фрезы и шлифовального станка, сделал первый мужественный шаг через разрытый лапами полукруг, обозначив свое присутствие и намерение привычной, ежевечерне повторяемой присказкой "умница, умница, будь умницей" - из конуры донеслось не то чтобы злобное, а скорее предупредительное рычание.

В ту субботу опилки в собачьей конуре поменять не удалось; не удалось Августу Покрифке и спустить сторожевого пса Харраса с цепи. Со злой собакой на привязи да при тощей луне столярная мастерская осталась на всю ночь считай что без охраны; но воры к нам не залезли.

В воскресенье,

в Туллин седьмой день в собачьей конуре, у Эрны Покрифке созрела одна задумка. Эрна появилась после завтрака, левой рукой волоча за собой стул, четвертая ножка которого, пересекая вчерашние грабельные узоры Эрнинного мужа, прорезала в них глубокую, решительную борозду. В правой руке она несла собачью миску, до верха наполненную бугристыми говяжьими почками и надвое разрезанными бараньими сердцами: сердечные желудочки выворачивали напоказ все свои аорты, связки, жилы и гладкие внутренние стенки. В почтительном шаге от полукруга, прямо против входа в конуру, она долго и тщательно устанавливала стул, потом, наконец, уселась и съежилась, вся скособоченная, кривая, с зыркающими крысиными глазками и маленькой, скорее обкарнанной, чем постриженной головкой, в черном воскресном платье. Из пристегнутой спереди матерчатой сумочки она извлекла вязанье и принялась вязать, наставляя острые спицы на собачью конуру, на Харраса и на свою дочь Туллу.

Мы, то есть столярных дел мастер, моя мать, Август Покрифке вместе с сыновьями Александром и Зигесмундом, полдня простояли у кухонного окна, глаза во двор то все скопом, то поодиночке. Да и в других квартирах в окнах, что выходят во двор, торчали сидя и стоя жильцы и дети жильцов - а в окне первого этажа одна, потому что одинокая, сидела старушка мамзель Добслаф и тоже глазела во двор.

Я сменить себя не давал и стоял безотлучно. Ни игрой в "братец не сердись", ни воскресным пирогом с корицей меня от окна было не оттащить. Стоял ласковый августовский день, а назавтра начиналась школа. Нижние створки наших двойных окон мы по настоянию Эрны Покрифке закрыли. Квадратные же верхние были слегка приотворены и впускали в нашу кухню-столовую свежий воздух вперемешку с мухами и гарканьем соседского петуха. Все шумы на улице, включая звуки трубы с Лабского проезда, где каждое Божье воскресенье какой-то чужак разучивал на чердаке одного из домов свои

пассажи, то и дело менялись. Неизменным оставалось только тихое неживое шуршание, перестук, бормот, причмокивание и сюсюканье - какое-то въедливо-гнусавое, с присвистом, словно ветер гуляет в ветвях кошнадерского ольшаника, и перепляс бесчисленных спиц, жемчужные четки, скомканный лист разглаживается сам собой, мышка-норушка точит зубки, соломинка к соломинке жмется: мамаша Покрифке не просто вязала, наставив на конуру спицы, она ворожила, пришепetyвала, шушукала, прицелкивала языком, стрекотала и присвистывала в ту же сторону. Я видел в профиль ее тонкие губы, ее скачущий, пилящий и вдалбливающий, то грозно выставленный, то кротко спрятанный подбородок, ее семнадцать пальцев и четыре неугомонные попрыгуньи-спицы, из-под которых в ее тафтяном черном подоле выросло что-то голубенькое, предназначенное, безусловно, для Туллы - Тулла потом это и носила.

Собачья конура со своими обитателями не подавала признаков жизни. В самом начале, когда вязание и причитания только набирали силу и явно не думали прекращаться, Харрас вяло и не поднимая глаз вышел из будки. Зевнув до хруста и сладко потянувшись, он направился к миске с мясом, по пути, судорожно присев, выдавил из себя свою тугую колбаску, потом и лапу не забыл поднять. Миску он зубами подтащил к конуре, заглотал там, нетерпеливо пританцовывая задними лапами, говяжьи почки и бараньи сердца со всеми их вывернутыми изнанками, но при этом так искусно заслонял вход в конуру, что понять, отведала ли Тулла вместе с ним от сердец и почек, было невозможно.

К вечеру Эрна Покрифке вернулась в дом с почти готовой голубой вязаной кофточкой. Мы боялись спрашивать. "Братец не сердись" был срочно убран со стола. Пирог с корицей остался недоеденным. После ужина отец строго встал, сурово посмотрел на пейзаж маслом с кужской ольхой посередине и сказал, что пора наконец что-то с этим делать.

На следующий день,

утром в понедельник, столярных дел мастер собрался идти в полицию; Эрна Покрифке, расставив для упора ноги и надрывая горло, костерила его на чем свет стоит, назвав, среди прочего, сраной жабой-вонючкой; один я, уже с ранцем за плечами, стоял на своем наблюдательном посту у кухонного окна. И тут я увидел, как Тулла, вся тощая, качаясь от слабости, в сопровождении понурившего голову Харраса, покидает собачью конуру. Сперва она ползла на четвереньках, потом распрямилась совсем как человек и неверным шагом - Харрас не решился стать ей поперек дороги - перешагнула разрытый его лапами полукруг. На двух ногах, чумазая, серая, но местами добела вылизанная длинным собачьим языком, она почти на ощупь добрела до калитки.

Харрас лишь один раз взвыл ей вслед, но его вой легко заглушил истерический крик дисковой пилы.

Покуда для меня и Туллы,

для Йенни и всех других школьников возобновились занятия, Харрас потихоньку снова вжился в свою судьбу сторожевого пса, в унылые будни, монотонный ход которых не нарушило даже известие, пришедшее недели три спустя и означавшее, что племенной кобель Харрас в очередной раз заработал для моего отца, столярных дел мастера Либенау, еще двадцать пять гульденов. Тот визит в питомник служебных собак полицейского отделения Верхний Штрис, несмотря на всю его краткосрочность, принес свои результаты. А еще спустя некоторое время из специального, "строго для служебного пользования в полицейских питомниках служебного собаководства" из-

готовленного формуляра, присланного нам по почте, нам стало известно, что сука Текла, порода немецкая овчарка, из Шюдделькау, владелец - собаковод Альбрехт Лееб, регистр. номер 4356, принесла пять щенков. А потом, еще несколько месяцев спустя, после Рождества, Нового года, снега, оттепели, снова снега, еще одного долгого снега, после первых весенних ручейков, после раздачи в школе пасхальных выпускных свидетельств - всех перевели, - после еще какого-то времени, когда вообще ничего интересного не происходило - ну разве что стоит упомянуть о несчастном случае в нашем машинном цехе, когда ученик Хоттен Шервинский, работая на дисковой пиле, лишился среднего и указательного пальцев левой руки, - вдруг пришло то самое заказное письмо, в котором за подписью гауляйтера Форстера - то бишь самого главного партийного начальника всего округа Данциг - сообщалось, что Управлением округа из питомника служебных собак полицейского отделения Верхний Штрис приобретен молодой кобель-овчарка по кличке Принц из выводка Фалько, Кастор, Бодо, Мира, Принц от суки Теклы из Шюдделькау, владелец - собаковод А.Лееб, Данциг-Ора, и кобеля Харраса из Никельсвальде, мельница Луизы, владелец - собаковод Фридрих Либенау, столярных дел мастер из Данциг-Лангфура, во исполнение решения, принятого от имени партии и всего немецкого населения немецкого города Данциг: Вождю и Канцлеру Рейха по случаю сорок шестой годовщины со дня его рождения подарить кобеля-овчарку по кличке Принц, сформировав для вручения подарка официальную делегацию. Вождь и Канцлер Рейха к предложению отнесся доброжелательно, согласен принять подарок округа Данциг и будет держать овчарку по кличке Принц вместе с другими своими собаками.

К заказному письму было приложено небольшое, формата открытки, фото Вождя с его собственноручной подписью. На фото он был запечатлен в национальной одежде верхнебаварских крестьян, только деревенский сюртук был немного улучшенного, городского покроя. В ногах у него улеглась дымчато-серая на фото овчарка со светлыми, вероятно желтыми разводами на груди и холке. На заднем плане громоздились горные массивы. Вождь весело улыбался кому-то, кого на фотографии видно не было.

Письмо и фотография Вождя - и то и другое было немедленно окантовано и застеклено в нашей мастерской - долго ходили по рукам в соседних домах и возымели то действие, что сперва мой отец, потом Август Покрифке, а после и некоторое число соседей вступили в партию, а помощник столяра Густав Милявске - проработал у нас больше пятнадцати лет, спокойный умеренный социал-демократ - уволился и лишь два месяца спустя, после долгих уговоров моего отца, снова согласился встать к нашему строгальному станку. художнику впервые пришлось осознать, что творения, если они позаимствованы Тулла получила от моего отца новый ранец. Мне подарили в полном комплекте форму "юнгфолька". А Харрас получил новый ошейник, но содержать его лучше не стали, потому что его и так содержали лучше некуда.

Дорогая Тулла,

возымела ли внезапная карьера нашего сторожевого пса для нас какие-нибудь последствия? Мне Харрас принес школьную славу. Меня вызвали к доске и попросили рассказать. Конечно, нельзя было говорить о случае, покрытии, свидетельстве о вязке и вознаграждении за вязку, про отмеченную в племенной книге "радостную готовность" нашего Харраса к покрытию и про "ответный пыл" суки Теклы. Как послушный и наивный пай-мальчик я

должен был что-то сюсюкать - и с удовольствием сюсюкал - о папе Харрасе и маме Текле, о собачьих детках Фалько, Касторе, Бодо, Мире и Принце. Барышня Шполленхауэр хотела знать буквально все:

- А почему господин Руководитель края подарил нашему Вождю маленького щенка Принца?

- Потому что у Вождя был день рождения и он давно хотел, чтобы ему подарили собаку из нашего города.

- А почему маленькому щенку, сыну Харраса, в Оберзальцберге так хорошо живется, что он уже совсем не скучает по своей собачьей маме?

- Потому что наш Вождь любит собак и всегда хорошо с ними обращается.

- А почему все мы радуемся тому, что маленький щенок Принц теперь у Вождя?

- Потому что Харри Либенау учится в нашем классе!

- Потому что овчарка Харрас - это собака его папы!

- Потому что Харрас - папа маленького щенка Принца!

- И еще потому, что для нашего класса, для всей нашей школы и для нашего прекрасного города это большая честь.

Ты видела, Тулла,

как весь наш класс вместе со мной и во главе с барышней Шполленхауэр явился на наш столярный двор с экскурсией? Нет, ты была в школе и не видела.

Полукругом стоял наш класс вдоль того полукруга, которым Харрас очертил свои владения. Мне еще раз нужно было повторить весь мой отчет, после чего барышня Шполленхауэр попросила отца в свою очередь тоже что-нибудь рассказать детям. Столярных дел мастер, высказав предположение, что о политической карьере пса класс осведомлен, поведал кое-что о родословной нашего Харраса. Он говорил о суке Сенте и кобеле Плутоне. Оба такой же черной масти, как Харрас, а теперь вот и маленький Принц, и оба были родителями Харраса. Сука Сента принадлежит мельнику из Никельсвальде, это в устье Вислы.

- Никому, детки, в Никельсвальде бывать не доводилось? Я туда по узкоколейке добирался, а мельница там не простая, а историческая, потому что на ней переночевала королева Пруссии Луиза, когда ей пришлось от французов бежать. Под мельничными козлами, - так сказал столярных дел мастер, - он и нашел шесть кутят. Так, дети, называют маленьких собачьих детенышей, и одного маленького щенка он там у мельника Матерна купил. Это и был наш Харрас, который всегда, а в последнее время особенно, дарил нам столько радости.

Где ты была, Тулла,

когда мне, под присмотром машинного мастера, было позволено провести наш класс по машинному цеху? Ты была в школе и не могла видеть и слышать, как я перечислял одноклассникам и барышне Шполленхауэр названия всех машин. Это фреза. А это шлифовальный станок. Ленточная пила. Строгальный станок. Дисковая пила.

Вслед за тем мастер Дрезен рассказал детям про сорта древесины. Он говорил о разнице между древесиной торцовой и продольной, стучал по несортице, сосне, груше, дубу, клену, буку и мягкой липе, долго распинался о ценных породах и о годичных кольцах на древесных стволах.

Потом нам пришлось еще спеть на столярном дворе песню, которую Харрас слушать не пожелал.

Где была Тулла,

когда главный руководитель сектора Гепферт вместе с руководителем

подсектора Вендтом и несколькими руководителями рангом пониже посетили наш столярный двор? Мы оба были в школе и не присутствовали при этом визите, во время которого было решено присвоить одному из вновь создаваемых отрядов "юнгфолька" имя Харраса.

Тулла и Харри не присутствовали и тогда,

когда после ремовского путча и кончины престарелого господина в Ной-деке, в Оберзальцберге, в приземистой, искусно подделанной под крестьянскую избе за задернутыми пестрыми баварскими занавесками из набивного ситца состоялась знаменательная встреча; зато присутствовали госпожа Раубаль, Рудольф Гесс, господин Ханфштенгель, данцигский руководитель штурмовых отрядов Линсмайер, Раушнинг, Форстер, Август Вильгельм Прусский, для краткости именуемый просто "Авви", длинный Брюкнер и предводитель всех крестьян Рейха Даре - и слушали Вождя, и Принц там был тоже. Принц от нашего Харраса, которого родила Сента, а Сенту зачал Перкун.

Ели яблочный пирог, который испекла госпожа Раубаль, и говорили о путче, об "огнем и мечом", о Штрассере, Шляйхере, Реме, да-да, мечом и огнем. Потом поговорили о Шпенглере, Гобино и о протоколах сионских мудрецов. Потом Герман Раушнинг совершенно ошибочно назвал Принца "великолепным черным волкопсом". Потом эту ерунду повторял за ним чуть ли не каждый историк. Между тем - и это подтвердит любой кинолог - есть только одна разновидность волкопса, ирландский волкопес, и от немецкой овчарки он отличается весьма существенно. Удлиненная и узкая форма черепа ясно указывает на его родство с дегенерирующими борзыми. Рост его в холке составляет восемьдесят два сантиметра, что на восемнадцать сантиметров больше, чем у нашего Харраса. У ирландского волкопса псовина длинношерстная. Маленькие складчатые уши не стоят торчком, а обвисают. Словом, это типично репрезентативная собака, скорее предмет роскоши, Вождь никогда не стал бы держать такую в своей псарне; чем раз и навсегда доказывалось, что Раушнинг заблуждался - не ирландский волкопес нервно терся о ноги уплетающих пирог гостей, а Принц, наш Принц слушал их беседы и, верный как собака, тревожился за своего хозяина; ибо Вождь имел основания опасаться за свою жизнь. Подлое покушение может таиться в любом куске пирога. Он боязливо пригублял свой лимонад, и его часто, без видимой причины, подташнивало.

Но Тулла была тут как тут,

когда к нам приходили журналисты и фотографы. Не только "Форпост" и "Последние новости" прислали своих корреспондентов. Из Эльбинга и Кенигсберга, Шнайдемюля и Штеттина, даже из столицы Рейха объявлялись бойкие господа и по-спортивно одетые дамы. Один лишь Брост, редактор запрещенного вскоре "Голоса народа", отказался брать интервью у нашего Харраса. Зато во множестве приезжали сотрудники религиозных печатных органов и специальных журналов. Газетенка Объединения друзей немецкой овчарки прислала кинолога, которого мой отец, столярных дел мастер, вынужден был попросту выставить со двора. Потому что этот собачий дока сразу начал придирается к родословной нашего Харраса: дескать, и клички-то давались безобразно, против всех правил собаководства, и нет, мол, никаких сведений о суке, от которой родилась Сента; и хотя само по себе животное совсем неплохое, придется в полемическом духе написать о таком варварском способе его содержания как раз потому, что речь идет об исторической собаке и тут, мол, требуется большое чувство ответственности.

Одним словом: в полемическом ли, в безудержно-восторженном стиле - о Харрасе писали, печатали, его фотографировали. Не обошли молчанием и

столярную мастерскую с машинным мастером, подмастерьями, подсобными рабочими и учениками. Высказывания моего отца, такие, к примеру: "Мы простые ремесленники, делаем свое дело, и конечно нас радует, что наш Харрас..." - эти скромные речи рядового мастера-столяра приводились дословно, нередко прямо под фотографиями.

По моим прикидкам, сольное фото нашего Харраса печаталось в газетах раз восемь. Еще раза три он запечатлен с моим отцом, один раз, на групповом снимке, вместе со всей столярной мастерской; но ровно двенадцать раз вместе с Харрасом в немецкие и зарубежные газеты попала Тулла - худенькая, на тонюсеньких ножках-спичках, она стояла рядом с Харрасом и не шевелилась.

Дорогая кузина,

и при этом ты ведь сама ему помогала, когда он к нам переезжал. Ты сама перенесла стопки нот и фарфоровую танцовщицу. Ибо если четырнадцать квартир в нашем доме остались при своих жильцах, то старая мамзель Добслаф освободила левую квартиру в первом этаже, окна которой выходили, а иногда и открывались во двор. Она съехала со всеми своими отрезами и пронумерованными фотоальбомами, с мебелью, из которых сыпалась древесная труха, - перебралась в Шенварлинг к сестре; а учитель музыки Фельзнер-Имбс с черным пианино и горами пожелтевших нот, с золотой рыбкой и песочными часами, с бесчисленными фото знаменитых артистов и музыкантов, с фарфоровой статуэткой в фарфоровой балетной пачке, что застыла на мысочке фарфоровой балетной туфельки в одной из классических балетных поз, въехал в освободившуюся квартиру, даже не поменяв поблекшие обои в гостиной и аляповатые с цветами в спальне. К тому же эти бывшие добслафские комнаты были сами по себе темные, так как шагах в семи от их окон грозила и отбрасывала тень торцевая стена столярной мастерской с лепившейся к ней наружной лестницей на верхний этаж. Кроме того, между домом и мастерской росли два куста сирени, которые из весны в весну процветали. С разрешения отца мамзель Добслаф огородила оба куста садовым заборчиком, что ничуть не мешало Харрасу оставлять свои пахучие метки и в ее палисаднике. Однако съехала старушка-мамзель не из-за собачьего самоуправства и не из-за темноты в квартире, а потому что родом была из Шенварлинга и там же хотела умереть.

Даже если ученики приходили к нему утром или сразу после обеда, когда на улице еще всю справлял оргии солнечный свет, Фельзнер-Имбсу приходилось зажигать электричество в зеленоватом бисерном абажуре. Слева у парадной двери он распорядился на деревянных пробках прибить эмалированную табличку: "Феликс Фельзнер-Имбс, концертирующий пианист и дипломированный учитель музыки". Не прошло и двух недель с тех пор, как этот неопрятный человек поселился в нашем доме, а к нему уже стали ходить первые ученики, несли с собой деньги за урок и даммовскую "Школу игры на фортепьяно", понуро брэнчали при свете лампы - правой-левой-теперь двумя руками-и еще раз - свои гаммы и этюды, пока в верхней колбе больших песочных часов на пианино не оставалось больше ни песчинки и они на средневековый манер оповещали, что урок окончен.

Богемного бархатного берета у Фельзнер-Имбса не было. Зато белая как лунь, к тому же припудренная, пышная и развевающаяся шевелюра волнами ниспадала ему на шею и воротник. В промежутках между уроками он эту свою

артистическую гриву причесывал. И когда на лысой, совсем без деревьев площади Нового рынка озорной порыв ветра трогал его шевелюру, он тут же выхватывал из просторного пиджачного кармана щеточку и во время процедуры ухода за своими удивительными волосами даже собирал вокруг себя зрителей: домохозяек, школьников, нас. Когда он причесывал волосы, взгляд его голубовато-белесых, совсем без ресниц глаз подергивался дымкой чистейшего высокомерия и витал под сводами воображаемых концертных залов, где воображаемая публика все не могла уняться, аплодируя его, концертирующего пианиста Фельзнер-Имбса, виртуозному мастерству. Зеленоватый свет из-под бисерного абажура падал на его шевелюру - ни дать ни взять Оберон, умевший, кстати, интерпретировать отрывки из одноименной оперы, он ворожил на своей прочной вертящейся табуреточке, превращая учениц и учеников в водяных и русалок.

При том, что слух у этих юных дарований, восседавших перед раскрытой "Школой игры на фортепьяно", был, надо полагать, поистине тончайший, ибо только очень изощренное ухо способно было из неумолчных и неустанных арий фрезы и дисковой пилы, из переменчивых рулад шлифовального и строгального станков, из наивного одноголосья ленточной пилы выхватывать в их девственной чистоте ноты гамм и вбивать их под строгим безресничным взглядом Фельзнер-Имбса в клавиатуру. Поскольку этот машинный концерт, если стоять во дворе, играючи подминал под себя даже безудержное фортиссимо ученических рук, метавшихся по клавишам, зеленый салон за сиреневыми кустами весьма напоминал аквариум - там царила бурная, но совершенно бесшумная жизнь. Золотая рыбка учителя в круглом стеклянном шаре на лакированной подставке усилить впечатление аквариума уже не могла и была в этом смысле деталью, пожалуй, даже излишней.

Особое значение Фельзнер-Имбс придавал правильной постановке рук. Фальшивые ноты при известной доле удачливости могли утонуть в сытом, но по-прежнему всепоглощающем сопрано дисковой пилы, однако если ученик при исполнении этюда, при тоскливом повторении гамм ненароком прикасался подушечками ладоней к черным клавишам и без того черного инструмента, не соблюдая требуемую, сугубо горизонтальную постановку кисти, - никакой столярный шум эту очевидную формальную оплошность от зоркого учителя укрыть не мог. К тому же Фельзнер-Имбс разработал особый педагогический метод: ученику, которому предстояло отработать повинность в гаммах, поперец каждой кисти клался сверху карандаш. Всякий огрех, малейшее прикосновение утомленной руки к дереву - и карандаш падал, неопровержимо доказывая, что испытание не выдержано.

Такой же контрольный карандаш приходилось держать на обеих пухлых, блуждающих по тропкам гамм ручках и Йенни Брунис, приемной дочке старшего преподавателя из дома, что наискосок напротив нашего; ибо через месяц после того, как учитель музыки к нам въехал, она стала его ученицей.

Ты и я,

мы смотрели на Йенни из сиреневого палисадника. Мы приплющивали лица к оконным стеклам тинисто-зеленого аквариума и смотрели, как она там сидит: толстая, пухленькая, в коричневой фланели, на вертящейся табуреточке. Пышный бант, как огромная лимонница - на самом деле бант был белый, - уселся на ее светло-каштановые, гладко ниспадающие до плеч волосы. И если другие ученики достаточно часто получали весьма чувствительный удар по руке только что свалившимся карандашом, Йенни, чей карандаш тоже иногда падает на белую медвежью шкуру под пианино, может не опасаться даже укоризненного взгляда - в крайнем случае Фельзнер-Имбс посмотрит на

нее озабоченно.

Возможно, Йенни и вправду была очень музыкальна - ведь мы, Тулла и я, по ту сторону оконного стекла, с фрезой и дисковой пилой за затылком, редко слышали разве что одну-две нотки; к тому же мы и по складу натуры не слишком, наверно, были способны отличить вдохновенно преодоленные музыкальные гаммы от понуро-вымученных; как бы там ни было, но пухленькому созданию из дома напротив гораздо раньше, чем другим ученикам Фельзнер-Имбса, было дозволено прикасаться к клавишам обеими руками сразу; да и карандаш летел вниз все реже и реже, покуда не был во всей своей дамокловой красе и строгости окончательно отложен в сторону. При желании уже можно было сквозь вопли и рев ежедневной, фрезой и пилой наярывающей, фистулой и фальцетом завывающей столярной оперы скорее угадать, нежели расслышать нежные мелодии даммовского учебника: "Зима пришла", "Охотник из Пфальца", "Иду я на Неккар, иду я на Рейн"...

Тулла и я,

мы хорошо помним, что Йенни была любимицей. Если занятия всех других учеников зачастую обрывались прямо на полуаккорде какой-нибудь "Стрелы в моем луке", потому что последняя песчинка средневековых песочных часов говорила свое "аминь", то когда кукольно-пухленькая Йенни овладевала на вертящейся табуреточке музыкальными знаниями, ни учитель, ни ученица песочных часов не наблюдали. А когда еще и толстый Амзель завел привычку сопровождать толстую Йенни на уроки музыки - Амзель ведь был любимым учеником старшего преподавателя и в дом напротив ходил запросто, - случалось, что следующему ученику приходилось целую четверть песочного часа дожидаться в сумрачной глубине музыкальной гостиной на одутловатой софе, прежде чем наступала его очередь; ибо Эдди Амзель, который в интернате Конрадинума брал когда-то уроки музыки, любил бок о бок с зеленогривым Фельзнер-Имбсом в четыре руки лихо отбацать какую-нибудь "Прусскую славу", "Финский кавалерийский" или "Боевые товарищи".

А кроме того, Амзель еще и пел. Не только в гимназическом хоре победоносно звенел его верхний голос, но и в досточтимой церкви Святой Марии, чей средний неф раз в месяц полнозвучно и радостно принимал под свои своды кантаты Баха, он пел в церковном хоре. Замечательный верхний голос Амзеля открыли, когда решено было исполнить ранний шедевр Моцарта "Мисса Бревис". Мальчишеское сопрано искали по всем школьным хорам. Мальчишеский альт у них уже был. Всеми уважаемый руководитель хора, когда он отыскал Амзеля, пришел в восторг:

- Воистину, сын мой, ты затмишь знаменитого кастрата Антонио Чезарелли, который в свое время, при первом исполнении мессы, давал ей свой голос. Я слышу, как ты воспаряешь на "Бенедиктусе", как ликуешь на "Dona nobis", да так, что любой поймет: такому голосу даже под сводами Святой Марии тесно!

Хотя в ту пору мистер Лестер еще представлял в Вольном городе Лигу наций, из-за чего все расовые законы на границах карликового государства в беспомощности и недоумении останавливались, Эдди Амзель, по рассказам, уже тогда на это ответил:

- Но, господин профессор, говорят, я наполовину еврей.

Профессор на это:

- Да что ты, мой мальчик, какой ты еврей, ты сопрано и будешь у меня запевать "Господи помилуй".

Лапидарный этот ответ вошел в историю и еще долгие годы с почтением цитировался в кругах, близких к консервативному Сопротивлению.

Как бы там ни было, а мальчишеское сопрано репетировало трудные места из "Мисса Бревис" в зеленой музыкальной гостиной учителя музыки Фельзнер-Имбса. Мы оба, Тулла и я, как-то раз, когда пила и фреза вдруг на пару взяли передышку, слышали этот голос - он добывал из своих недр чистое серебро. Тонкие, как дыхание, острые ножички кололи и резали воздух. Гвозди плавилась. Воробьи - и те устыдились. Даже в наших доходных домах повеяло набожностью, потому что толстый ангел все тянул и тянул "Dona nobis".

Дорогая кузина Тулла,

только потому, что Эдди Амзель стал ходить в наш дом, понадобилось это нудное, как гаммы, введение. Поначалу он приходил только с Йенни, потом стал водить с собой своего насупленного дружка. Вообще-то Вальтера Матерна можно было считать нашим дальним родственником, потому что овчарка его отца Сента приходилась матерью нашему Харрасу. Мой отец, завидя юношу, тут же начинал расспрашивать о самочувствии и успехах мельника и об экономическом положении Большой поймы вообще. Отвечал ему, как правило, Эдди Амзель, который и в экономике был подкован, рассуждал обстоятельно, приводя примеры и факты, в свете которых план партии и сената по расширению занятости выглядел несбыточным. Он рекомендовал смычку со стерлинговым блоком, иначе не избежать чувствительной девальвации гульдена. Эдди Амзель даже цифры называл: дескать, придется считаться с падением гульдена на сорок два с чем-то процента, а польский импорт подорожает процентов на семьдесят; даже дату девальвации можно, мол, уже сейчас предположить где-то в первых числах мая; а все эти даты и цифры он якобы позаимствовал у отца Матерна, мельника, тот всегда все наперед знает. Излишне говорить, что все предсказания мельника второго мая тридцать пятого года полностью сбылись.

Амзель и его товарищ были тогда уже в выпускном классе и потихоньку приближались к экзаменам. Оба уже ходили во взрослых костюмах с настоящими длинными брюками, пили возле спортзала или в пивнушке на Цинглерской горке дешевое пиво, а про Вальтера Матерна, который к тому же курил дешевые сигареты "Регата" и "Артур", вообще ходили слухи, что он в прошлом году соблазнил в Оливском лесу ученицу предпоследнего класса из школы имени Елены Ланге. Никому бы и в голову не пришло приписывать такие подвиги увесистому Эдди Амзелю. Одноклассники и приглашаемые иногда в компанию барышни считали его, уже из-за одного только нездешнего, в горных высях витающего голоса, тем, что они, не обинуясь, называли словом "евнух". Другие высказывались поделикатней, Эдди, мол, еще слишком инфантилен, в известном смысле он еще существо бесполое. Сколько мне об этом понаслышке известно, Вальтер Матерн, слыша такие разговорчики, долго отмалчивался, пока однажды в присутствии многих однокашников и случившихся с ними барышень не произнес длинную речь, представившую его друга в истинном свете. Амзель, дал он понять, по части девушек и женщин всех ребят за пояс заткнет. Он довольно регулярно ходит к девкам в Столярный переулок, в дом против пивоварни Адлера. И занимается он там этим не как другие, по пять минут, а считается в заведении дорогим гостем, а все потому, что девушки видят и ценят в нем художественную натуру. Амзель, кстати, выполнил там тушью, кисточкой и пером, а сначала и в карандаше, изрядную стопку портретов и актов, причем не каких-нибудь

свинских, а таких, что и выставить не стыдно. Потому что с папкой этих рисунков Эдди Амзель без всякого приглашения нанес визит знаменитому профессору живописи, мастеру писать лошадей, Августу Пфуле, который в высшей технической школе преподаёт архитекторам рисунок, и показал ему эти работы; и Пфуле, известный своей суровостью, сразу же признал в Амзеле большое дарование и обещал всяческое содействие.

После такой речи, содержание которой я могу воспроизвести лишь по смыслу, подтрунивания над Амзелем почти вовсе прекратились. На него теперь поглядывали даже с особым уважением. Многие однокашники приставали к нему с требованиями взять их с собой в Столярный переулок, но он эти поползновения дружелюбно, а иногда и с помощью Матерна пресекал. Однако когда Эдди Амзель как-то раз - так во всяком случае мне донесли - предложил своему другу вместе пойти в Столярный переулок, тот, к его изумлению, отмахнулся. Он, мол, не хочет разочаровывать бедных девушек, - так, с не по годам уверенной рассудительностью, он заявил. Дескать, профессионализм в этом деле его отталкивает. У него, мол, ничего не воспримет. А он от этого только хуже ожесточится, что в конечном счете для обеих сторон будет неприятно. Словом, без любви или на худой конец без страсти тут никак нельзя.

Все эти сильные доводы друга Амзель вроде бы выслушал молча, слегка покачивая головой, после чего, прихватив папку для рисования и изящно упакованную коробку шоколадного ассорти, направился к девушкам в заведение напротив пивоварни Адлера в одиночку. Тем не менее - и если я верно осведомлен - вскоре, в один из унылых декабрьских дней он все же уговорил друга отпраздновать вместе с ним и девушками второй или третий сочельник. Но только на четвертый сочельник Матерн действительно явился. При этом выяснилось вскоре, что профессионализм в девушках отталкивает его так притягательно, что у него, вопреки всем его прогнозам, все воспрянуло, а потом, по школьным ценам и с умелой помощью немногословной девушки по имени Элизабет, успокоилось и улеглось. Воспоминания об этом ее благом деле ничуть, впрочем, не помешали ему по пути домой - сперва по Староградскому рву вверх, потом по Перечному граду вниз - злобно скрежетать зубами и предаваться мрачным размышлениям о продажности баб вообще и в частности.

Дорогая кузина!

Точно с такой же тигровой, шоколадно-коричневой в яично-желтую полоску рисовальной папкой, которая облагораживала его визиты в непотребный Столярный переулок, превращая их в легальные художественные экскурсии, Эдди Амзель в сопровождении Вальтера Матерна приходил и в наш доходный дом. Мы оба видели его в музыкальной гостиной учителя музыки Фельзнер-Имбса, где он, поставив перед собой статуэтку фарфоровой балерины, бросал на бумагу ажурные, как дыхание, эскизы. А в один из умытых, солнечных майских дней я увидел, как он подходит к моему отцу, столярных дел мастеру, указывает на свою тигровую папку и тут же ее раскрывает, предоставляя рисункам говорить самим за себя. И отец сходу дал ему разрешение рисовать нашего сторожевого пса Харраса. Только втолковал ему, чтобы он со всеми своими причиндалами располагался за чертой того полукруга, который канавкой и насыпью достаточно ясно обозначал пределы досягаемости собачьей цепи.

- Собака злая, и художников наверняка не жалуется, - так мой отец, столярных дел мастер, сказал.

Однако с первого дня наш Харрас слушался Эдди Амзеля с самого тихого полуслова. Амзель сделал Харраса своей собачьей моделью. Амзель не говорил, к примеру, "Харрас, сидеть!", как это делала Тулла, которая говорила "Сидеть, Харрас!", если нужно было, чтобы Харрас неподвижно сел. С первого дня Амзель игнорировал его собачью кличку Харрас и обращался к нашему сторожевому псу, когда хотел, чтобы тот поменял позу, примерно так:

- Ах, Плутон, не соблаговолите ли вы сперва встать на все четыре лапы, а потом правую переднюю поднять и слегка согнуть, но непринужденно, еще свободнее, пожалуйста. А теперь не будете ли вы так добры повернуть вашу благородную голову овчарки вполоборота налево, вот так, именно так, прошу вас, Плутон, так и оставайтесь.

И Харрас отзывался на кличку Плутон, словно он и вправду весь свой век был адским псом преисподней. Казалось, серый в клеточку, спортивного покроя костюм Амзеля вот-вот лопнет по всем швам под напором его необъятных телес. Макушку его укрывала белая льняная шапочка, придававшая ему невнятное сходство с английским репортером. Но одежда была не новая: все, что носил Амзель, вид имело подержанный, да и было подержанное, потому что он, - так рассказывали, - хотя деньги на карманные расходы имел сказочные, покупал только ношенные вещи либо в ломбарде, либо в лавках старьевщиков в Поденном переулке. А ботинки так и вовсе вроде были от почтальона. Он водружался своим широченным задом на маленький, но, судя по всему, невероятно прочный складной стульчик. Но откуда он, оперев на упругую левую ляжку свою папку с прижатым к ней чистым листом, расслабленной правой рукой как бы от запястья водил по нему своей неизменной густо-черной кисточкой, которая постепенно покрывала лист из левого верхнего угла в правый нижний стремительными, летящими, иногда, впрочем, неудачными, но чаще очень точными и какими-то удивительно свежими зарисовками нашего сторожевого пса Харраса или, как он считал, адского пса Плутона, вокруг день ото дня все больше - а Эдди Амзель рисовал у нас во дворе примерно неделю, каждый день после обеда, - нагнетались самые разные страсти и осложнения.

Во-первых, поодаль всегда стоял Вальтер Матерн. Одетый в живописные лохмотья - этакий костюмированный пролетарий в злободневной критической пьесе, который заучил наизусть свои обличительные тирады и в третьем акте становится предводителем мятежа, - он у нас во дворе становился, напротив, жертвой дисковой пилы. Подобно нашему Харрасу, который то и дело, особенно в плохую погоду, подхватывал ее напев - только пилы, фрезы никогда - руладами истошного воя, задирая морду к небу, так и этот молодой человек голос нашей пилы спокойно переносить не мог. Он, правда, голову не задирали и выть не порывался, не произносил и пылких бунтарских монологов, а перемалывал рабочий шум инструмента своим старым излюбленным способом - сухим скрежетом зубным.

Этот скрежет, однако, действовал на Харраса. Губы его раскрывались, обнажая нехороший оскал. Углы губ подрагивали. Ноздри расширялись. Спинка носа сморщивалась от кончика до самого корня. Знаменитые стоячие, с легким наклоном вперед овчарочки уши теряли свою уверенную статью и падали. Харрас поджимал хвост, выгибал спину от холки до крупа трусливым горбом, словом, выглядел просто как побитая собака. И вот в этой позорной позе Эдди Амзель запечатлевал его снова и снова, причем с самой

прискорбной достоверностью - то юркой густо-черной кисточкой, то царапающим враспырку пером, то вдохновенно-брызгучим рапидографом. Наша дисковая пила, скрежещущие зубы Вальтера Матерна и наш Харрас, которого эта пила и этот скрежет превращали в выродка, - все они работали художнику Эдди Амзелью на руку. А все вместе - дисковая пила, Матерн, пес и Амзель - они образовывали примерно столь же слаженную рабочую команду, как авторский коллектив господина Браукселя, где он, я и еще некий соавтор пишут одновременно и должны управиться к четвертому февраля, когда начнется вся эта свистопляска и прочая дребедень со звездами.

Но моя кузина Тулла,

которая, день ото дня разъярясь все больше, стояла тут же поодаль, больше в стороне оставаться не хотела. Всевластие Амзеля над адским псом Плутоном лишало ее прежней власти над сторожевым псом Харрасом. Не то чтобы пес совсем перестал ее слушаться - он, как и прежде, садился неподвижно, когда она приказывала "Сидеть, Харрас!", только исполнял эти все более сурово выкрикиваемые команды до того рассеянno и бездумно, что и Тулла сама себе, и я сам себе и Тулле вынуждены были признаться: этот Амзель портит нам собаку.

Тулла,

вне себя от ярости, сперва просто бросалась камушками, не однажды весьма метко попадая Амзелью то в круглую спину, то в мясистый загривок. Он, однако, легким пожатием плеч и вялым поворотом головы всякий раз давал понять, что, хотя камушек его и задел, чувствовать себя задетым он не намерен.

Тулла,

с перекошенным белым лицом, опрокинула его пузырек с тушью. Черная, отсверкивающая металлом лужица долго поблескивала на песке нашего двора и не хотела рассасываться. Амзель достал новый пузырек из кармана и как бы между прочим показал, что у него и третий в запасе.

Когда Тулла,

подкравшись сзади, швырнула горсть мельчайших опилок, из тех, что аппетитной горкой скапливаются в ящичке под кожухом дисковой пилы, на почти законченный, еще влажный и поблескивающий рисунок, Эдди Амзель сперва удивился, потом рассмеялся, раздосадованно и добродушно одновременно, по-отечески погрозил Тулле, которая с отдаления наблюдала за произведенным эффектом, своим толстым пальцем-сарделькой, после чего, все более и более вдохновляясь открывшейся новой техникой, начал обрабатывать прилипшие к бумаге опилки, придавая рисунку то, что в наши дни называют структурой; он мгновенно оценил возможности этой хотя и забавной, но недолговечной художественной манеры, извлекающей выгоду из случайности, тут же прихватил мелких опилок из ящичка под дисковой пилой, завернул их в носовой платок, добавил туда же мохнатые стружки от фрезы, игривые локоны от строгального станка, остренькие опилки от пилы ленточной и собственноручно, не дожидаясь Туллиных набегов из-за спины, сообщил своему рисунку кисточкой точечно-бугристый рельеф, прелесть которого состояла еще и в том, что некоторая часть прилипших к рисунку древесных крупиц через какое-то время отпадала, обнажая таинственно мерцающие крохотные островки чистой бумаги. Однажды - видимо, он был недоволен своими слишком нарочитыми стружечно-опилковыми загрузками - он попросил Туллу подкраситься сзади и как бы непроизвольно швырнуть на только что законченный лист пригоршню опилок, стружек, можно даже песка. Он многого ожидал от Туллиного соавторства; но та отказалась и изобразила "задернутые

занавески".

Моей кухне Тулле никак не удавалось

ущучить живописца и укротителя собак Эдди Амзеля. И только Август Покрифке сумел нащупать его слабинку. С пильными козлами на плече, он не раз останавливался за спиной у художника и, хрустя своими клейкими пальцами, высказывал критические соображения и похвалы, обстоятельно вспоминал другого художника, который в свое время каждое лето приезжал в Кошнадерию и писал маслом Остервикское озеро, "церкву" в Шлангентине и разных кошнадерских обитателей - таких, как Йозеф Бутт из Аннафельда, портной Мусольф из Дамерау и вдова Ванда Йентак. И его тоже за резкой торфа нарисовали, а потом под названием "Резчик торфа" даже в Конице на выставке показывали. Эдди Амзель интерес к собрату по живописи выказал, однако наносить быстрые штрихи на бумагу не бросил. Тогда Август Покрифке оставил Кошнадерию и завел разговор о политической карьере нашего сторожевого пса. Со всеми подробностями он поведал о том, каким образом Вождь у себя в Оберзальцберге оказался владельцем овчарки по кличке Принц. Рассказал и про фотографию с подписью, что висит у нас в красной горнице над горкой грушевого дерева, выпускной работой одного из отцовских подмастерьев, рассказывал, загибая пальцы, сколько раз его дочку Туллу, сфотографированную вместе с Харрасом, а то и посреди большой статьи о Харрасе, в газетах пропечатали. Амзель вместе с ним порадовался ранним успехам Туллы и принялся за новый рисунок сидящего Харраса, или Плутона. Август Покрифке выразил уверенность, что уж Вождь-то все сделает как надо, уж в нем-то можно не сомневаться, ума у него больше, чем у всех прочих, вместе взятых, и рисовать он, кстати, тоже умеет. А кроме того, Вождь не из этих, которые только и знают, что важных господ из себя разыгрывать.

- Вождь, он когда в машине-то едет, всегда спереди с нашим братом шофером сидит, а не сзади, как какой-нибудь жидюга.

Амзель счел народную простоту Вождя весьма похвальной и перенес на бумагу уши адского пса с карикатурным преувеличением - они встали совсем уж торчком. Тогда Август Покрифке поинтересовался, состоит ли Амзель пока только в молодежном союзе "Гитлерюгенд" или уже в партию вступил; потому как где-нибудь, либо тут, либо там, Амзель - так ведь, кажись, его звать - конечно же состоит наверняка.

Тут Амзель медленно опустил кисточку, проглядел, склонив голову чуть набок, еще раз рисунок сидящего Харраса или Плутона, а затем, повернувшись всем своим круглым, взмокшим, забрызганным веснушками лицом к вопрошающему, с готовностью ответил, что нет, к сожалению, он нигде никакой не член и о человеке этом - ну-ка, еще раз, как там его зовут? - слышит впервые, но теперь обязательно наведет справки, кто этот господин, откуда родом и какие у него планы на будущее.

Тулла

на следующий день сполна отплатила Амзелю за его неосведомленность. Едва он уселся на своем прочном походном стульчике, едва опер на упругую левую ляжку свою папку с листом бумаги, едва Харрас, он же Плутон, принял свою новую модельную позу - лежа с вытянутыми передними лапами и бдительно-гордо вскинутой головой, - едва кисточка Амзеля обмакнулась в пузырек с тушью и напилась досыта, едва Вальтер Матерн, правым ухом к дисковой пиле, занял свой наблюдательный пост, - как дверь столярный мастерской распахнулась и выплонула сперва Августа Покрифке, клеевара, а вслед за ним клееварову дочь.

Вместе с Туллой он стоит под дверью, шушукает что-то, косо поглядывая на прогибающийся складной стульчик, учит дитяtko, дает ей наставления - и вот она уже подходит, сперва как бы нехотя, вихлявыми вензелями, скрестив тонкие ручки за спиной своего национального баварского платья, бесцельно загребая босыми ногами песок, а потом вдруг начинает описывать вокруг рисующего Эдди Амзеля быстрые, стремительно сужающиеся петли, подскакивая то слева, то справа.

- Эй, вы! - И уже снова слева: - Эй, как вас там? - И тут же опять слева: - Чего вам здесь вообще надо? - И слева опять: - Чего вам надо-то здесь? - А теперь справа: - Вам тут вообще не место! - И снова справа: - Ведь вы же... - И справа, совсем близко: - Знаете, вы кто? - И слева, почти в ухо: - Сказать, кто вы такой? - И в правое ухо, как иглу: - Вы же абрашка! А-бра-шка. Да-да, абрашка! Или, может, вы не абрашка, вот тогда и можете рисовать нашу собаку, раз вы не абрашка.

Кисточка Амзеля замерла в неподвижности. А Тулла, уже отбежав в сторону, снова:

- Абрашка!

Слово. Слово брошено, летает, скачет по двору, сперва тихо, вблизи от Амзеля, потом достаточно громко, чтобы и Матерн отвлекся от своих взаимоотношений с запевающей дисковой пилой. Он пытается схватить эту мелкую тварь, что выкрикивает слово "абрашка". Амзель встает. Матерн Туллу не поймал.

- Абрашка!

Папка с первыми, еще влажными штрихами туши падает на песок, рисунком вниз.

- Абрашка!

Вверху, на третьем, четвертом этажах, а потом и на первом, втором распахиваются окна: домохозяйки решили проветрить. А с Туллиного языка снова:

- Абрашка!

Пронзительней, чем дисковая пила. Матерн хватъ - и снова мимо. Туллин язык. Вострые ножонки. Амзель стоит возле своего складного стульчика. Слово. Матерн поднимает с земли папку и рисунок. Тулла пружинит на доске, что лежит на козлах.

- Абрашка! Абрашка!

Матерн завинчивает крышечку на пузырьке с тушью. Тулла взлетела на доске и спрыгнула:

- Абрашка! - катится по песку. - Абрашка!

Во всех окнах дома уже зрители, из окон мастерской тоже выглядывают подмастерья. Слово, три раза подряд, слово. Лицо Амзеля, которое во время рисования пылало, теперь остывает. Он не может согнать с лица улыбку. Пот, только уже липкий и холодный, течет по веснушкам и складкам жира. Матерн кладет ему руку на плечи. Веснушки теперь серые. Слово. Одно и то же слово. У Матерна рука тяжелая. Теперь с наружной лестницы. Вездесущая Тулла:

- Абрашка-абрашка-абрашка!!!

Матерн уже ведет Амзеля под руку. Эдди Амзель дрожит. Левой рукой, в которой у него уже папка, Матерн подхватывает складной стульчик. Только тут Харрас, освобожденный от приказа, меняет предписанную ему позу. Он принюхивается, понимает. И вот уже натянулась, напряглась цепь - голос собаки. Голос Туллы. Дисковая пила вгрызается в пятиметровую доску. Пока молчит шлифовальный. А вот и он. Так, а теперь фреза. Долгие двадцать

семь шагов до калитки. Харрас рвется и готов сдвинуть сарай, к которому прикована цепь. Тулла, приплясывая и беснуясь, все еще слово. А неподалеку от калитки, что ведет со двора, там, где стоит, похрустывая клейкими пальцами и в деревянных сапогах, Август Покрифке, запах клея не на шутку схватился с ароматом из палисадника перед окнами учителя музыки. Сирень атакует и побеждает. Май как-никак. Слова не слышно, но оно висит в воздухе. Август Покрифке хочет сплюнуть то, что он уже несколько минут копил во рту, но не осмеливается - Вальтер Матерн смотрит в упор, показывая ему свои громкие зубы.

Дорогая кузина Тулла!

Теперь я перескакиваю. Эдди Амзель и Вальтер Матерн были с нашего двора изгнаны. Тебе ничего за это не сделали. Поскольку Амзель нашего Харраса испортил, Харраса пришлось по два раза в неделю водить на передрессировку. А тебе, как и мне, приходилось учиться читать, писать и считать. Амзель и Матерн сдали свои экзамены, письменные и устные. Харраса подтянули в облаивании незнакомых лиц и в отказе от корма из чужих рук - но все равно Амзель его уже слишком сильно успел испортить. Тебе трудно давалось чистописание, мне арифметика. Но оба мы с удовольствием ходили в школу. Амзель и его друг получили аттестаты зрелости, Амзель - с отличием, Матерн - как говорится, с грехом пополам. Вроде снова началась жизнь или должна была начаться: после девальвации гульдена экономические трудности быстро и легко рассосались. Пошли заказы. Отец смог снова нанять подмастерья, которого он за месяц до девальвации вынужден был уволить. А Эдди Амзель и Вальтер Матерн после аттестата зрелости начали играть в кулачный мяч.

Дорогая Тулла,

кулачный мяч - это коллективная игра, осуществляемая двумя командами по пять игроков в каждой на двух прилегающих друг к другу площадках перебрасываемым с одной площадки на другую мячом величиной примерно с футбольный, но легче футбольного. Как и лапта, это исконно немецкая игра, пусть даже Плавт еще в третьем столетии до нашей эры и упоминает некий *follus pugilatorius* - "мяч избиваемый". Дабы усугубить истинно немецкий характер кулачного мяча - ибо у Плавта, вне сомнений, речь идет о германских рабах, играющих в эту игру, - следует сообщить: во время первой мировой войны в лагере военнопленных под Владивостоком пятьдесят команд играли в кулачный мяч; а в лагере военнопленных Оувестри, в Англии, свыше семидесяти команд проводили турниры по кулачному мячу, терпя в них бескровные поражения или одерживая столь же бескровные победы.

Игра не сопряжена с чрезмерными физическими нагрузками, как то с необходимостью много бегать, поэтому в нее можно играть и в шестидесятилетнем возрасте, как мужчинам, так и женщинам, причем даже чрезмерно тучной комплекции. Словом, Амзель начал играть в кулачный мяч. Кто бы мог подумать! Этим маленьким пухлым кулачком, этим кулачишкой, в который только посмеиваться хорошо, кулачком, который ни разу в жизни по столу не стукнул! Таким кулачком разве что письма придерживать, чтоб на сквозняке не улетели. Да какие это кулаки - так, тефтельки, клецки, две розо-

вые примочки на коротеньких ручонках болтаются. Не то чтобы там рабочий кулак, пролетарский кулак, который "Рот фронт!" - эти кулачки были мягче воздуха. Кулачки для угадки: угадай, в какой руке лежит. В кулачном праве он всегда и заведомо был неправ; в любом кулачном бою мгновенно превратился бы в "мяч избиваемый" - и только в кулачном мяче кулачок Амзеля был триумфатором; вот почему здесь и будет по порядку рассказано, как Эдди Амзель стал мастером кулачного мяча, то есть спортсменом, который сжатым кулаком - выставять большой палец запрещено правилами - наносил по кулачному мячу удары снизу, сверху и сбоку.

Туллу и меня перевели в следующий класс.

Каникулы - вполне ими заслуженные - привели Амзеля и его друга в устье Вислы. Рыбаки молча наблюдали, как Амзель штрихует рыбацкие лодки и сети. Паромщик заглядывал Эдди Амзелю через плечо, когда тот набрасывал контуры парового паромы. У Матернов, на том берегу, он тоже побывал, многозначительно посудачил с мельником Матерном насчет будущего и зарисовал матерновскую мельницу на козлах со всех сторон. И с сельским учителем Эдди Амзель хотел было словечком перекинуться, но тот вроде бы своего бывшего ученика дальше порога не пустил. С чего бы это вдруг? Еще более решительно, к тому же с насмешками, отшила Эдди Амзеля ветреная шивенхорстская красавица, которую он хотел запечатлеть на ветреном берегу с ветром в волосах и в развевающемся на ветру платье. Но все равно папку свою он набил до полна и с полной рисовальной папкой уехал обратно в город. Он, правда, пообещал своей матушке поступить в какой-нибудь приличный институт - хотя бы в Высшую техническую школу на инженера, - но для начала стал завсегдатаем в доме у лошадиного живописца и профессора Пфуле и так же, как Вальтер Матерн, которому предстояло стать экономистом, но который с гораздо большим удовольствием декламировал против ветра монологи что Франца, что Карла Моора, никак не решался приступить к занятиям.

И тут пришла телеграмма: матушка призывала его в Шивенхорст к своему смертному одру. Причиной смерти вроде бы оказалась сахарная болезнь. Эдди Амзель сперва запечатлел мертвое лицо своей матери на рисунке пером, а потом сангиной. Говорят, на похоронах в Бонзаке он плакал. Очень мало людей собралось у гроба. С чего бы это вдруг? После похорон Амзель начал сводить на нет вдовье хозяйство. Он распродал все: дом, мастерскую с рыбацкими куттерами, подвесными моторами, траловыми сетями, коптильными принадлежностями, полиспаст, ящики с инструментом и все вразнобой пахнущие товары из лавки. К концу распродажи Эдди Амзель уже считался, да и был, завидным женихом. И если некоторую часть своего состояния он поместил в Сельскохозяйственный банк Вольного города Данцига, то другую, большую часть ему удалось весьма выгодно вложить где-то в Швейцарии - там эти деньги много лет тихо работали на проценты и, ясное дело, не убывали.

Из осязаемых предметов Амзель лишь очень немного взял с собой из Шивенхорста. Два фотоальбома, почти никаких писем, военные награды отца - лейтенант запаса, он погиб в первую мировую, - семейная Библия, его дневник первых школьных лет со множеством рисунков, некоторое число замызганных фолиантов о Фридрихе Великом и его генералах, а также бессмертный труд Отто Вайнингера "Пол и характер" - вот и все, что укатило вместе с Амзелем по рельсам узкоколейки.

Хрестоматийный этот опус высоко ценил его отец. Вайнингера пытался на протяжении двенадцати весьма протяженных глав доказать отсутствие души у

женщин, чтобы затем в тринадцатой, под заголовком "Еврейство", пуститься в рассуждения о том, что евреи - раса женская, следовательно, бездушная, и лишь когда еврей преодолет в себе свое еврейство, от еврейства можно ожидать искупления. Особенно значительные мысли отец Эдди Амзеля подчеркивал красным карандашом, нередко снабжая их к тому же на полях пометкой "Очень верно!". Так, на странице 408 лейтенант запаса нашел очень верным, что "евреи, как и женщины, любят бывать вместе, но друг с другом не сношаются..." На странице 413 он поставил три восклицательных знака против фразы: "Сводничающие мужчины всегда имеют в себе еврейство..." Хвостик предложения на странице 434 он подчеркнул многократно и сопроводил возгласом "Храни нас Боже!" на полях: "...что истинному еврею во веки вечные недоступно, так это бытие непосредственное, благодать Божья, теветонский дуб, трубный глас, порыв Зигфрида, сотворение самого себя, слова "Я есмь"..."

Еще два места, подкрепленные отцовским красным карандашом, обрели значимость и для сына. Поскольку в хрестоматийном труде было сказано, что еврей не поет и не занимается спортом, Альбрехт Амзель, стараясь хотя бы эти тезисы как-то ослабить, основал в Бонзаке атлетический кружок и украсил церковный хор своим баритоном. В том, что касается музыки, Эдди Амзель, как известно, упражнялся в лихой и задорной игре на пианино, а также изливал мальчишеское сопрано, которое и после окончания гимназии не желало покидать свои горные выси, в моцартовских мессах и небольших ариях; что же до занятий спортом, то Эдди с головой окунулся в кулачный мяч.

Он, который годами был жертвой всенепременной школьной лапты, сам, добровольно, влез в хромово-зеленые спортивные брюки атлетического кружка "Младопруссия" и даже сподвиг своего друга, который дотоле с удовольствием играл в хоккей на траве за Данцигский хоккейный клуб, примкнуть вместе с ним к младопруссакам. С разрешения тренеров, дав обещание по меньшей мере дважды в неделю отстаивать на травяной арене Нидерштадт хоккейную честь своего клуба, Вальтер Матерн записался еще и в секции легкой атлетики и ручного мяча; ибо одного кулачного мяча с его неспешными, уютными передвижениями крепкому телу молодого человека было явно недостаточно.

Тулла и я,

мы прекрасно знали стадион имени Генриха Элерса - спортивно-тренировочный комплекс между Главной городской больницей и интернатом для слепых "Святой колодец". Приличный газон, но старые деревянные трибуны и раздевалки, в щелях которых гулял ветер. Главное поле и два небольших тренировочных с утра до вечера были заняты любителями лапты, ручного и кулачного мяча. Иногда, правда, заявлялись футболисты и легкоатлеты, куда неподалеку от крематория не отгрохали шикарный стадион имени Альберта Форстера, после чего скромная арена имени Генриха Элерса осталась, в основном, для соревнований школьников.

Поскольку за год до того Вальтер Матерн на городском чемпионате школьников победил в толкании ядра и в беге на три тысячи метров и с тех пор имел репутацию перспективного юниора, ему удалось выбить для Эдди Амзеля допуск и сделать своего друга младопруссаком. Они его сперва только судьей на линии соглашались брать. А зритель арены сунул Амзелью веник: и чтобы в раздевалках чистота была! Ему приходилось также смазывать мячи и на гандбольном поле обновлять мелом разметку штрафных площадок. И лишь когда Вальтер Матерн возвысил голос протеста, Эдди Амзель

был взят разводящим в команду по кулачному мячу. На задней линии играли Хорст Плец и Зигги Леванд. Левым нападающим был Вилли Доббек. Ну а уж справа, под самым тросом, роль главного забойщика в команде, которая вскоре стала грозой всех соперников и безусловным лидером в турнирной таблице, играл Вальтер Матерн. А все потому, что Эдди Амзель был дирижером, он был сердцем и мозгом команды, прирожденным диспетчером-разводящим. Все, что Хорсту Плецу и Зигги Леванду удавалось сзади принять и переправить в центр площадки, Эдди Амзель легкими движениями запястья артистически и точно накидывал к тросу - а уж там стоял Матерн, центральной и бомбардир. Он словно выхватывал мячи из воздуха и редко "гасил" прямыми ударами, все больше подрезая. И если Амзель прекрасно умел, принимая даже коварно поданные мячи, сервировать их партнерам как на блюдечке, Вальтер Матерн даже внешне совершенно безобидные удары превращал в верные очки, поскольку если неподрезанный, прямой мяч отскакивает точно под углом удара, то есть предсказуемо, то мячи Вальтера Матерна, после удара по нижней трети мяча, на лету приобретали вращение и отскакивали куда им вздумается. Что до Амзеля, то его фирменным номером был внешне простоватый, но редко чисто исполняемый удар снизу. Низко летящие мячи он подбирал превосходно. Мощные удары сверху вытаскивал, ныряя под них "рыбкой" и подставляя кулаки "бобышками". Подкрученные мячи он распознавал мгновенно и либо отражал их легким ударом снизу, либо бил сильно с плеча. Он то и дело подчищал промахи и неточности собственных защитников и был, несмотря на все усмешки, впрочем усмешки уважительные, отличным неарийским игроком, спортсменом и младопруссаком.

Тулла и я были свидетелями,

как Амзелью даже удалось похудеть на пару кило. Эту его "усушку" заметила кроме нас только еще Йенни Брунис, в ту пору уже десятилетняя пышечка. Ей, как и нам, бросилось в глаза, что двойной трясущийся подбородок Амзеля вдруг окреп, превратившись как бы в плотный округлый цоколь. Да и его рыхлая грудь с вечно подрагивающими сосками расправилась и обнаружила более плоский рельеф. Не исключено, впрочем, что Эдди Амзель ни фунта и не сбросил, просто распределил свой жир более равномерно по всему телу и дал, благодаря спортивно развитой мускулатуре, этой прежде бесформенной жировой оболочке атлетический мышечный каркас. Его торс, ранее напоминавший пуховую подушку, теперь округлился в подобие бочонка. Он стал похож на фигурку китайского божка, такого божка-покровителя всех игроков в кулачный мяч. Нет, вряд ли Эдди Амзель сбросил хотя бы полкило веса, скорее он в амплуа разводящего даже килограмма два прибавил, однако этот привесок он сумел сублимировать в спортивность - вот насколько относительным может казаться в человеке даже его вес.

В любом случае это, видимо, Амзель, который при своих набранных ста двух килограммах казался много легче, чем при прежних девяноста девяти, навел старшего преподавателя Бруниса на мысль прописать и пухленькому созданию Йенни побольше движения и физических нагрузок. Старший преподаватель вместе с учителем музыки Фельзнер-Имбсом решили, что Йенни три раза в неделю будет ходить в балетную школу. В предместье Олива имелся Шиповниковый переулок, что начинался у рынка и наискось выходил к Оливскому лесу. В Шиповниковом переулке стояла скромная вилла в стиле бидермайер, к песочно-желтой штукатурке которой, наполовину укрытой боярышником, лепилась эмалированная вывеска балетной школы. Поступление Йенни в балетную школу, так же как и вступление Амзеля в атлетический клуб младопруссаков, потребовало посреднических усилий - в данном случае Феликса

Фельзнер-Имбса, который много лет был в этой школе аккомпаниатором. Никто не умел, как он, сопровождать упражнения у станка: все деми-плие, от первой до пятой позиции, с трепетом ждали его адажио. Он окроплял своими аккордами пор-де-бра. А его образцовый ритм при батманах дегаже и невероятный темп при пти батман сюр ле ку-де-пье! Кроме того, это был просто кладезь историй. Можно было подумать, что он лично и в одну эпоху видел на сцене Мариуса Петипа и Преображенскую, трагического Нижинского и непревзойденного Мясина, Фанни Эльслер и Барбарину. Никто не сомневался, что он был очевидцем того легендарного, исторического спектакля, когда, как он рассказывал, еще в бидермайеровские времена знаменитые Тальони, Гризи, Фанни Черрито и Люсиль Гран танцевали большой "Падекатр" и восторженная публика забросала их розами. С превеликим трудом он достал билет на галерку - тогда говорили "на Олимп" - на премьеру балета "Коппелия". Само собой разумеется, балетный пианист Фельзнер-Имбс мог воспроизвести на пианино по клавирам весь балетный репертуар от скорбной Жизели до воздушной Сильфиды; и именно по его рекомендации мадам Лара взялась делать из Йенни Брунис вторую Уланову.

Понятно, что уже вскоре Эдди Амзель стал терпеливым зрителем этих занятий. Стоя за пианино, вооруженный эскизным блокнотом, оснащенный мягким свинцом, он шустрым взглядом следил за упражнениями у станка и вскоре уже умел лучше запечатлевать нужные позиции на бумаге, чем мальчики и девочки, частично из детской балетной труппы Данцигского театра, способны были воспроизвести их наяву. Мадам Лара нередко прибегала к услугам его рисовального искусства и объясняла своим ученикам с рисунком в руках нужные плие.

Йенни являла собою в танцклассе зрелище одновременно и грустное, и умильное. Ибо, хотя ребенок прилежно воспроизводил все фигуры - ах, как старательно она семенила ножками в па-де-бурре, как трогательно отличался ее сдобный пти шанжман де пье от скучного шанжмана тренированных балетных цапель, как светился, когда мадам Лара разучивала с классом "Танец маленьких лебедей", ее вдохновенный, столетия и клубы пыли пронизающий взор, который даже суровая мадам Лара называла "лебединым", - и все же, при несомненном балетном очаровании, Йенни, увы, производила впечатление хорошенькой розовой свинки, которая хочет превратиться в воздушную Сильфиду.

Почему же тогда Амзель снова и снова запечатлевал ее плачевные арабески, ее надрывающие душу тур а ля згонд в своих слегка размытых рисунках? Потому что его свинцовый карандаш, нисколько не затушевывая полноту Йенни, умел обнаруживать дремлющую в ее теле танцевальную линию и доказывал мадам Ларе, что в этом мешочке жира скрыта и готова засиять маленькая, с орешек величиной, балетная звездочка; надо только суметь распустить на огне все это сало, наружное и нутряк, покуда в шипящем пламени знаменитых тридцати двух фуэте на сковородке сцены не останется, подпрыгивая и вертясь, одна только тощенькая и упругая балетная шкварка.

Дорогая Тулла!

Как Эдди Амзель становился в балетной школе зрителем Йенни, точно так же и Йенни Брунис ближе к вечеру, устроившись на пригорке газона, смотрела, как Амзель дирижирует своей командой, ведя ее к очередной победе. И когда Амзель тренировался, то есть когда он с упорством монахини, по

три раза перебирающей четки, жонглировал легким кулачным мячом, Йенни не отводила от него глаз и не закрывала свой круглый ротик-пуговичку. Оба они, тянувшие вместе килограммов эдак на сто шестьдесят, составляли парочку, знаменитую если не в масштабах города, то уж точно в масштабах нашего предместья; ибо все жители предместья Лангфур знали Йенни и Эдди ничуть не хуже, чем им был известен некий шкет-недомерок со своим неразлучным детским жестяным барабаном. Правда, тот гном - все кликали его просто Оскаром - слыл законченным нелюдимом и ни с кем не водился.